

ИЛДЯ СЕЛВВИНСКИЙ

Улялаевщина

ГОСЛИТ
ИЗДАТ
1935

ИЛЛЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

УЛЯЛАЕВЩИНА

ЭПОПЕЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1935

Редактор В. Казин
Художник Л. Литвак
Техн. редактор С. Симонов.
Корректор Л. Боткина

*

Сдано в набор 1/II 1935 г.
Подписано к печ. 5/III 1935 г.
Формат бумаги $72 \times 110^{1/32}$ Тир. 30000
Зак. изд. № 490. Зак. тип. № 86
Печ. л. 4, зн. в печ л. 32600.

*

Инд. X—40
Уполномоч. Главлита Б—2035

*

39-я тип. Мособлполиграфа, ул. Сквор-
цова-Степанова. д. 3.

*

Цена 1 р.
Переплет 25 к.

Б. Я. Сельвинской

ГЛАВА I

Телеграмма пришла в 2⁴⁰ ночи.
Ковровый тигр мирно зверел,
Когда турецких туфель подагрический почерк
Исчеркал его пустыню от стола до дверей.

В окно был виден горячий цех
Где обнажалось белое пламя...
Комната стала кидаться на всех
Бешеными вещами—

И матовый фонарь, оправленный в кость,
Подъятый статуей настольного негра,
Гранеными ледышками стучался от энергий
В крышку чемодана из крокодильих кож,

Куда швыряло акции, керенки, валюты,
Белье, томик Блока, стэк с монограммой,
Шифрованное слово страшной телеграммы
Таинственное — „революция“.

Суеверно сунут копеечный Спас.
Двор под черепом автомобиля ожил.
Судорожно свел никелированную пасть
Крокодил из чемодановой кожи —

Пока на подоконнике двуносы́й бульдог,
Копируя карикатурный о́брюзг миллионера,
Стерег рассвет зеленовато-серый
И вздрогнул, заслы́ша гудок...

В окно неслась огневая метель:
В горячем цеху зарождалось солнце,
Как будто молотом и бессонницей
Там ковали мятеж!

Забойщи́ки, вагранщи́ки, сверловщи́к, чеканщи́ки
Строгальщи́ки, клепальщи́ки, бойцы и маляры,
Выблескивая в лóске литьё рёбер и чекан щекí
Лихорадили от революционных малярий.

Хотя бы секунду, секунду хотя бы
Открыть клапанá застоявшихся бурь...
А в это время Петербург
Вдребезги рухнул в Октябрь.

Директор узнал об этом раньше рабочих.
В. Н. Сугробов, горный король,
Оставил в кабинете обручи для бочек
И недокусанный сэндвич с икрой.

Да несколько депеш: капитану Канари,
Своей супруге Тате и некой мадам —
И вот крокодиловой кожи чемодан
Умчался, уменьшаясь в рубиновый фонарик...

А здесь, на костях, по болотной чаще,
Где только порханье нетопырей,
В грохоте колёс, нажимая все чаще,
Головокружительно мчался и мчался
Завода ночной экспресс.

Но в день, когда черным углем на тракт,
Окровавленный знаменами, высыпал завод —
Казачья сотня, кривясь от зевот,
Тащилась атакой на вялых ветрах.

Казаку скука: рабочий, скубент...
Другой раз ни разу не дашь палаша:
Пару-другую конем положа,
Всего-то и бою, что гикнешь: „Бей!!“

Но тут уж ворочался с Мазура и Стохода
В шинели, закрахмаленной в крови,
В волдырях, обмотанных верстами походов,
Обрыганный вшами фронтовик.

И не успев ладно умучить, как люди,
За войну перелопатанных дома баб,
С обрезом винтовки, от желчи лютой,
Красногвардейщиной пер в хлеба.

Как бочка, где бродит хмель и вода,
Пучась от газов, взрывает обруч —
Россия во чреве растила удар,
Разнесший ее христомордый образ.

И дедкой за репку по пене по той
Пошла катиться на ширмах „Петрушка“:
Паук-протопоп, крича про потоп,
Да туз-буржуй на пушке,

Помещик Врангель с дяблями,
Ножки-фри, икотица...
Эй, яблочко,
Куды ж ты кòтисся?!

А пена капустой айда гуляет!
Это не люди, не стар и млад:
Это прет единица с нулями,
Это ожила сама земля.

Сама земля — погорелица,
Отряхаясь корнями рук;
Это мох бородой по коре лица,
Это рыжих листьев под шапкой шум,

Это сап со свистом корчит гримасы,
Тиф кишками по швам в треск...
Выше громов вырастают массы —
Массы через три „эС“.

Если бы дым их избяных труб
За день сконцентрировать и просеять сажей —
Черный крест жирнотой в сажень
Лег бы по экватору и полюсам на круг.

Если бы из организма партизанских войск
Выпарить соль и разложить по улице:
С точностью до одной п-ной $\frac{7}{10}$ унции
Пришлось бы каждому буржуа на хвост.

И та-та-таканье пулемета-та-та-та
И гранат лирический взвой —
Всё воспекает исторический смотр
Массы, прущей в набатный звон.

Это был — *т'руба, барабан!*
Их последний — *да, Раба!*
И реши — *жих-жах!*
тельный бой — *нив и шахт!*

С Интер — пулеметы — нацио
Дзум пыйхь — оналом
Воспрянет — трубы — род — барабаны:
Людской! Гром. Бой.

Но куда защищалась буржуятина клятая,
И завод дыбился рывком,
С морей налетел товарищ Гай, агитатор,
И с ним походный ревком.

Товарищ Гай: небольшой тик справа,
Точно под скулой кишели муравьи,
Но торчали в глазницах черных, как рвы,
Круглые очки в железной оправе.

Товарищ Гай просмотрел свой актив:
Лошадиных, Четыха, Кулагин.
Хотя состав не так чтоб ахти,
Но авось да потянут тягу.

Итак, смета: Лошадиных в Чеку,
Четыхе завод (он парень с угрозой),
Кулагин пойдет в Губпродком и Угрозыск,
А Гай за всех на-чеку.

Ударник и стихийник, хам и герой,
В прорыве притушенной личности
Сашка Лошадиных без околичностей
Крой!

Сашка Лошадиных — матрос с броненосца:
Сиски в сетке, маузер, клёш.
Прет энергию псковская оспа —
Даешь!

Сугробовский молотобой Четыха Артемий.
Сурьезный. Ясного ума.
Мокрым утиральником обматывая темя,
В затмении чувствий был от бумаг.

Не раз, моргая, прижимал он шляпу:
„Д'товарищ Гай, смилуйся — по башке гул,
Неграмотный я, еле кляксы ляпаю,
А тут — доклады, счета — не могу...“

Зато вот уж Кулагин — мужичонка вострой.
Этот самостийничает — к преду ни ногой.
Губпродком обособил, ровно каменный остров,
Открыл междуведомственнейший огонь.

Но пузыря очками окна косые,
Сталью пера истекал неврастеник,
И от мыслей кружились плакатные стены
С гитарой и картой лоскутной России.

И товарищ Гай, как Москва на карте,
Привинтив по нерву на каждый Отдел,
Звонил:

Четыхе — „Не хнычь — поднажарьте!“
Сашке — „Полегче“.
Кулагину — „Дел?!?“

Он, всегубернский, лилипутный Ленин,
В клочотаньи классов, рас, поколений,
Напрягая жилы, так что дергалась десна,
Не знал ни режима, ни сна.

И только когда эта гунная страна
На минуту утихнет от арбы и отары,
Он дернет струну висящей гитары —
И, как пчела, загудит струна.

Грифа о гвоздик дребезг и постук,
Вощаной жилы соленое — ззз,
И о ресницу прохладный воздух
Призрачной стрекозы.

Как эта мягкая сонь редка.
Сентиментален зазывный звук,
И зачарованный смотрит, как —
Кружится бронзовый жук...

...Двести фунтов золотого мяса
С голубой лисцей как описать —
Ее перси — облачный пейзаж,
Ее плечи — это с умма сойти,

Ее женственное благородство
В жесте, в поступи, подобной езде,
Маслянистость полуоборота
Луковицы в гнезде.

И глаза. Да нет, надо видеть
Плутующую невинность их дум
В апельсиновой сердцевине,
Замороженной во льду,

Где влажные дольки золотца,
Растягиваясь и сводясь,
Играют, точно два солнца,
Которыми лучится вода.

А ноздри! Ведь в них затерян
Ребус философских атак:
Реальнее всех материй
Обаятельная пустота.

О, моя дорогая валькирия,
Опущенная на проспект!
Какая, какая лирика
Достойна тебя воспеть,

Когда твои, Тата, изогнутые
Губы смеются и манят,
И на плечах твоих — окна,
Как в петербургском тумане...

А впрочем — и снова челюсть крута,
Кнопка — вваливаются татары,
И по женской фигуре гитары —
С крылатой струной — секретарь.

И в озере, висящем на сером гвозде,
У рупора трубки, в креслах крылатых,
Черный рыцарь в хромовых латах
Меховые брови воздел.

Гундосит Кулагин: „Это что же, ничего? да?
Сашка вчера задержал меня,
А сегодня всех приехавших с 17-го года
Приказал комендатуре разменять“.

Лошадиных гнусавит: „Антошка Кулагин
Персонально пределяет меж своими
Муку и сахар и прочие благи
И в списках ордеров его имя“.

Гай хладнокровно стиснул мундштук,
Так что дым из трубы раздуло,
Так что бережно звездащие мечту
Зрачки нацелились, как дула.

Но киргизы, приехавшие с дальней Алчи,
За-раз галдят с раздраженьем и мукой
И не могут понять, почему он молчит
И бородкой пера играет с мухой.

Кулагин явился в чьем-то манто
На сером шелку под котиком. Пауза.
Гай: „Тэк-с... Ну, что ж, брат Антон“.
Выдвинул ящик, нащупал маузер.

Кулагин понял. Полиловели губы,
Но по глазам заметалась жизнь —
„Товарищ Гай — я буду служить.
Вот-те крест. А касательно шубы-с...“

Пуля имела модный чекан —
И мозг не вытек, а выпер комом.
Четыха срочно переброшен в Чека.
Лошадиных стал губпродкомом.

Гай говорил. В лицо не глядел он.
Железом звучал его лозунгов лязг:
„Каждое зернышко — пуля белым.
Каждая ниточка — им петля“.

Он никогда не размазывал: точка;
Дважды-два; буки-аз=ба.
И Сашка в гипнозе бежал по кочкам,
И сейфом казалась ему каждая изба.

Всем. Всем. Всем.

Братва, не щади их,

Комбед информирует только держись!
Лошадиных заслушает. Так. Лошадиных
Примет решение и проведет в жизнь.

Итак — питање. Упрятать толпу за
Жиры и сахар и соль??
А Вошь, обжираясь, пузырила пузо,
Дрыща яйцами в ямки сёл.

И когда по утрам из загдохших грядок
Багряное солнце лучи подьемлет:
Казалось, — кровавая Вошь из ада,
Карабкаясь ножками, лезет на землю.

И в районе бархан поднялась баш-буза,
И на пункты коммунных пашен
Повел в набег верблюжий базар
Зеленый полковник Мамашев.

И по селам слух задымился золой,
Будто у озера муравой и мылдой
С конницей в 50 голов
Гуляет партизан Дылда.

А за ним молва голосистая:
Что в разлужьях у Волчьего Спуска
С прапорами и гимназистами
Появилась какая-то Маруська;

Что, возвратясь из кандального Севера,
Рыща тырбан от туза бы к тузу б,
Гастролирует с уголовною хеврой
Мокрятник — Золотой Зуб.

Атаманы в лощине, атаманы на речке
Путников за зебры: „Ты чей, паря, а?“
Брызгала разбойничками Степь, что кузнечиками,
Да поджидала лишь главаря.

Улялаев був такій — выверчено віко,
Дірка в підбородце тай в ухі серга —
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той Улялаев Серга.

*Джаныбек. II—1924.
Пенза—Самара—Уфа.
XI—XII—1924.*

ГЛАВА II

Лиловые тучи. Серое поле.
Умиротворенность и великолепие.
Пегие березки в золотой боли,
Задумчивая кляча с галкой на репице.

Вода замирала. На дне из-под камня,
Колокольчиком ус завернув у рыльца,
Кольхая пузырь и зевая клешнями,
Зеленый рак мерцал и троился.

Гусиную стаю тянуло к морю.
Вода, как железо, делалась рыжей.
В белый туман проступали зори
От изморози в пупырѣжках.

И грибные дубы, полусонные, желтые,
Щелкая в пупики рябой картофель,
С треском раскалывали жирные жолуди
На чашечку с хвостиком и на кофе.

И розовые, пеженькие, черненькие хрючки,
Заливаясь петухами и немазанной осью,
Суетливо чавкали, крутя закорючкой,
Капая слюни и кидаясь в россыпь.

А меж двух берез наливался запад
У бугра багров, у листвы золотистой,
И листья слетали, слоистые листья,
По красной коже трупный крапат.

Поцелуй в землю, мертвенно звонкий,
И вот зарываются в осыпь и осунь:
И на их гусиных лапах, морща перепонки,
Тихо отходила — Осень.

А к ночи ведьмы, подъяв на леса дыбы,
С мокрых деревьев скубили перья,
И сыпали хохот и льдистый перец
В венецианские окна усадьбы.

Буря качала волнами ветра,
Снежной пеной шипела,
Петушьем запевала, стругала ветви
И перебирала Шопена.

Но Шопен не давался. Холодный рояль
Щерил зубы и выл под вьюгу,
И Тата гасила зазвучий края,
Бледная от испуга.

Каприччио Листа и танцы Брамса
Капризные пальцы брали,
И бельма дыханий потели по глянцу
Черных зеркал рояля.

Но труп композитора с вьюгою, оба,
В тон нот вылезали,
В колонны свечей над воющим гробом,
В склеп огромного зала.

И когда казалось, что мир вымер,
И детонации ныли одни —
Сам убиенный Сугробов Владимир
Являлся в такие дни.

Молча о плечи билась истерика,
Пальцы пушились тупей и нежней...
По ритуалу, выйдя из зеркала,
Он проплывал к жене.

И когда в его пальцах начала биться
В кипах летящих нот и книг,
Снизу по лестнице барский убийца
Дробил сапогами к ним.

Ось! И замок отскакивал, залаяв,
Путал портьерный шнур.
По-рысьи раскосый батырь Улялаев
На грудь забирал жену.

И, оставя мистический гул и холод,
Удобно качаясь в люльке рук,
Слушала сердца мужского стук,
Слышала лестницы старческий голос.

Сухие коробочки няниных комнат,
Такие, что спичка — и вспыхнут.
Обои в горошку. Диван огромный,
Турецкий такой да рыхлый.

Лоскутный коврик, шитый руками,
У баржи груженой кровати;
В божничке домашние тараканы,
Такие, что можно позвать их;

Бутылка с вишней. Косящий запад.
Часы, говорящие: „Тата“;
И в клетке яичные гусенята,
И нафталиновый запах.

И Тате становилось так спокойно и просто,
И был бы уютен ее коробок,
Если б не эта харя в коросте,
Не то изрубленной, не то рябой.

Как это вышло? Когда... ну, вот это...
Как его? Ну, революция, да.
Так вот, когда объявили газеты —
Что дескать мм... деспотизм труда —
Володя поклялся, что он не допустит,
Вызвал уральцев и кайсачьи племена.
Потом мужики, говоря о капусте,
Осматривали комнаты и нуль на меня.
Потом ей сказали, чтоб она уезжала,
Что дескать барина „тово“ да „тае“.
И вдруг она прониклась такой к себе жалостью,
Бедненькая... Ну, за что это ей?
Она была уверена, что революция —
Это обида Неба на нее.
И Тата гадала буквами на блюде,
В чем ее грех — и молилась о нем.
А так как у ней собственный ангел в сердце
(Тата звала его запросто „Анжелик“),
Она и молила: „Анжелик, не сердься“.
И вкусные слезы под ушком шипели.
В детстве ей служили три пары ног:
Мадам „Шип-Шип“, Аксюша и „Курица“.
(Она бывало в пакость возьмет и зажмурится,
Потому что ведь сразу станет темно.)

Но в Карлсбаде (он лечился от зоба)
Ее обручили. Было забавно.
Ей даже нравилось: она своенравная,
А он такой выдержанный — русская особа.
Правда, Ланские геральдика древняя:
Их предки норманны, но нужно понять —
У него на Урале завод и деревня,
В Ментоне вилла, в Москве особняк.
И началась жизнь — чудная, прекрасная.
Предпишет из Парижа: „Сделать ремонт!“
А придет: „Боже, здесь пахнет краской!..“
И тотчас укатит на какой-нибудь mont.
А там знаменитый в ямочках круп
Облетит статуэтками все курорты юга,
И все уже знали: русская белуга
Плывет метать золотую икру.
А какие камни: один сандастр
По имени „Байрон“ — черный, как кровь.
И ледяной каллапс — „Первая любовь“,
Спектральными туннелями звездастый.
А какой в Москве у нее салон,
Как едки и дипломатичны улыбки.
И все влюблены. Чуть вечер — „Алло!“ —
Юрочка Гай или Котик Билибин.
Ах, Гай... Он любил о Тате погрезить.
Но как! Вслух и с латинской солью:
„Я Ваши ноздри сравнил бы с фасолью,
Если бы в ней хоть капля поэзии.
А впрочем... fa, sol (он трогает клавиш) —
Не это ли формула Ваших ноздрей?“
О, нет, согласитесь, что яд этих стрел
Никаким равнодушием не расплавишь.
И вовсе не по ее вине.
И если Сугробов надует губы,

Улыбнется, распускаясь, как жемчуг в вине:
„Вот таких-то, моя дудочка, и любят!“
Вообще — жила. Такая милая, лучшая,
Самая лучшая (нет, я беспристрастна).
И вдруг — такое. За что? Престранно.
Совершенно. Абсолютно. — Революция!
Осталась одной. Но ведь это же яма ж.
Ничего не умея, работай. А как?
Ну, вот и вышла пока что замуж
За самого дошлого казака.

И дедовский дом Сугробовых рухнул.
Улялаев забил колоннадную дверь,
Выбрал из флигеля 2 комнаты и кухню,
Вырезал землицы десятины с две.

Три раза проходили белые войска,
Три раза усадьба возвращалась бы Тате,
Но что за смысл судиться, искать?
Все равно большевики снова прикатят.

А если так — Улялаев за белых,
В драке за землю он их ненавидел —
Но все обошлось в самом лучшем виде,
И теперь мешали красные. И он не терпел их.

И верно: у него теперь барское хозяйство:
Голландки, симменталки, молочные козлицы,
А эти придут — заорут „да здравствует“,
И сдавай на учет и жди реквизиций.

Но когда он услышал, что генерал Субботин
Перевешал весь Ревком их губернии —
Успокоился враз, даже принял на работу
Какого-то очкастого, беглого наверно.

И вот теперь барствует — никаких забот нет,
Хитер да сметлив — всех позаклепал.
Девять ран, так на войне уж не работник,
Эта власть, та ли — он сам себе пан.

Но ныла в Улялаеве ссадина на сердце:
Купил он вот кусок молодой жены.
Она скучала в мезонине, в окна над сенцей
Глядя на плахты ядерных жниц...

И Улялаев сатанел: он у ней не первый,
Но только чуть дотронется — и пошла ловить.
Законного мужа не голубила, стерва,
Плакала до хохота, говорила „вы“.

Но понимал кавалерюга — не заматывал силойцей.
Это, брат, панночка, кровей голубых,
И, нарывая голодом, мучается, ищет,
Как бы добыть любви.

Бережно осев на скамеечку, что под ноги,
Локти в колени, мизинцы в губу —
Думал: „Та разве ж тебя загублю,
Цапочка моя родная“.

И каждый вечер с ней, но один,
Просиживая в безысходной грусти,
Языком изнутри по зубам выводил,
Себя же стесняяся: „Тата“, „Татуся“.

Но в этот раз отсидев полчаса,
Обул плечá кожухом на ваксе,
По живую душу пошел он до „Васьки“
И долго в пашине плеши чесал.

И „Васька“ парной теплыню вздыхал,
Оттеня темноту фиолетовым глазом.
И так было тихо, что даже доха
Шипела, когда в ней клещатик лазил.

Но вот Улялаев выкатил гербы —
И в этом Лжедмитриевом рыдване
Двух верблюжих идиотское рыданье
До плеч заплывало в сугробы горбы.

Не выдержал. Выехал матерой Кирилыч
Искать ведьмовки или колдуна:
„Киземет, ось! — просю тебя: вылечь;
Донские дензнаки выкладу — на.

Щоб вона влазила на пидоконник,
Меня выглядаты — дай приворот“.
А дома-то, на хуторе-то снаряжались кони
И на трубе сидела пара ворон.

Чемоданы, саквояжи в ярлыках Эзонцо,
Бесчисленных Виши, Кастаньол, Ментон,
Серый капор над черным манто,
А глаза как флаконы солнца.

Взбежал батрак, да обряжен как!
„Тата!“ — „Гай, наконец-то“.
„Ты меня заждалась, лебяженька,
Снежинка моя, невеста...“

Пара ворон, распахнув веера,
Седой чешуей взъерошась,
Сутуло махала, ныряя в буран,
Лапой звезда порошу.

Один, солидный, имевший нагул,
Присев на кибитку, взял ноту Кар-рузо.
Другой с удивлением выпятил пузо,
Комически раскорячась в снегу.

В сани зверея налезла доха,
Сунула за пазуху хохочущую шубку.
Меховыми хлопьями заносил шурхан,
Мороженым наслаивая дюны на порубке.

В пене поземки, в снеговой дым
Нервная звала и торопила дорога.
„Тепло тебе, Тата?“ Дышло — дыдынь.
Коренной оглянулся — трогать?

Винный запах ноздрей ожег,
В голосе душные звуки.
Свернулась на нем в пуховой снежок,
Лебязьи обвили руки.

О подбородок пальцами Брамс,
О щеку ресница нежится.
Нежно всасывается к губам,
Остановилось сежце...

Вороной строевик да савраска куцый,
Колики ног зазяблых,
А щеки-то, щеки — крепче яблок,
Так что нельзя улыбнуться.

Буран затих. Распашная езда,
Переговариваются копыта,
И Тате из ямы крытой кибиты
Видна лишь одна голубая звезда.

И, может, на самую эту звезду
Смотрел полудремой в кибитке Пушкин,
С таким же снежком на бобровой опушке
И так же сквозь дырочку ветер дул...

Вдруг — стали. На низовой.
Вопросительный посвист, полный вибраций,
И вот о снег полнозвучно бряцн т
Красной мочи горячий звон.

И вновь остановятся. Через фут.
И другая лошадь, слегка изгорбясь,
Выгнет хвост, но сделает — ффт.
Немного подумает и дернет корпус.

И снова звезда. И на взгорьях круп
Черной луной взойдет из-за пуши,
И снова нырнет. И баюкает уши
Кры? Кру. Кры? Кру.

Так о чем она думала? Да. Оренбург.
Лошади всюду всегда одинаковы.
Здесь их слушали Пушкин, Аксаковы,
В этом нытье снеговых бурь...

А над дохою в черном углу
Золотокрасный вспых папирасы
Выхватывал скулы, стеклянную россыпь
И черных глазниц лепную глубь.

Гай размышлял: „Я, как стержень, обвин
Проводами партии и пролетариата.
Я—организатор, я и лектор, я—оратор—
Имею ли я право даже думать о любви?

И куда я везу ее? К военной черни
В будни, напряженные до невралгии,
Когда в утренний час не предвидишь вечерний,
Учел ли ты это? Нет. Не лги.

Да — это так. Но тут существенное „но“.
Что она? Гаремное животное, не более.
И в ее сознании жизненное поле
Лишь будуарная ночь.

Но если сознание — отблеск бытия,
То переплавить женщину в партийной плазме
Разве не заслуга? Не подвиг разве?
Кто же это сделает? Может быть и я“.

Нет, не то. Это все казуистика.
Просто, дорогой, потянуло на ласку,
И сколько ты тут зубами ни ляскай,
Это любовь. Вот ее-то и выстегай.

„Стой!“ — Демаркационная линия.
„Откуда? Куды?“ Землянка. Загиб.
Лошадиными мордами, ссыпающими иней,
На звезду наступили казакі.

Гай подумал: „Тут я и умер“.
На миг Но в ребре заработал винт.
И солнечным зайчиком перебликнул юмор,
Когда он швырнул документ: „Лови“.

Сивый урядник, неграмотный ночью,
Высек зажигалку — и сунулся брунет:
„А-нэ — аң; ле-и — ли: Анализ Мòчи“.
(Иностранец должно быть.) „Сахару нёт“.

„А печать на месте?“ — „Печать без сумлень.“
И тронул лошадей нерастрелянный чекист,
И мча, от хохота рухнул на колени,
Рыдая в железные очки.

Воротился Улялаев на верблюжьей паре
Толечко-только белой зарей.
Распахнуты ворота. Не выбегает парень.
В конюшнях с яслей стрельнул хорек.

А в жениной светелке, где воздух напрыскан,
В коптящей лампе щипцы для волос —
На туалетном столике синяя записка:
„Прощайте — уехали. О-сь“.

Прыгнул вниз. Перебросил чепрак.
Хватать с места. Конь с ног.
Сугробы шарахались. Снежный прах
Рвался ямской, степной, лесной.

В чугунный гуд шестилетний „Ворон“,
Массивной кости густой жеребец,
Перси раздув о вспльчивый норов
Без сети прожилок и жира без;

Зеленое мыло запенив на-земь,
Космато дымя чернобыльник волос,
Отливая по шкуре в сочном обмазе
Лиловый, синий, багровый лоск —

Жужжит в распахе, оскалась белками,
Перетопом копыт отбивая зарю,
Он жужжит, спотыкаясь звездами о камсень,
Селезёнкой короткий чрёвя хрюк.

Мышцы ныряли. Вновь нарывали;
Вылепливаясь в барабанной мядре.
И трепетала в полет, в порыванье
Летучая мышь ноздрей.

Весьелонск. XI—1924

ГЛАВА III

Ехали казàки, ды ехалí казàки,
Ды ёхали каза́ха?ки, чубы́ па губам.
Ехали казàки ды на башке па?пахи
Ды на́б'шке папахи чéрез Дон на Кубàнь.

Скулы не побриеты между-зубàми ўгли
По коленям лея наворàчивает — „Нно!“ Эх.
Кòнскíе грíевы ды от крови? па?жухли
Ды плыло сàло от обстре?ла в я́звы и гнòй.

Добре, лошади́еха, что вышла? от набèга
Опалило поры?хом смердючье полымё.
Тòлько штò там зìвтра ды наша жизнь? ка?пейка,
Ды не дорубит шàшыкà — дохлопнет пúлемёт.

Кóни-вы-коняэги, винтовки мèж ушàми.
Сивою кукушко?й перкликались подковы́.
По степу курганы, ды на курган ем?шаны
Ды на емшан „татàрыкí“ да сýвай ковáль.

Гайда-гайда-гайда-гайда — гай дàларáйдà
Гайдая́ра гайдади́да гай да ларà (свист)
По степу курганы, ды на курган ем?шаны,
Ды на емшан „татарыки“ да сýвай коо?выль.

Конница підцікивала прямо по дорозі,
Разведка рассыпалася ще за две версты.
Волы та верблюды, мажарины та дроги,
Пшеничные подухи, тюки холстин.

Из клеток щипалися раскормленные гуси.
Бугайская мышь, порослячье хрю.
Лязгает бунчук податаманиха Маруся
В николаевской шинели с пузырями брюк.

Гармоники наяривали „Яблочко“, „Маруху“,
Бубенчики, глухарики, язык на дуге.
Ленты подплясывали от парного духа,
Пота, махорки, свиста — эгей...

А в самой середке, оплясанный стаей
Заёрницких бандитщиков из лучшего дерьма,
Ездит сам батько Улялаев
На черной машине дарма.

Улялаев був такой: выверчено віко,
Дірка в підбородці тай в уху серга.
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той батько Улялаев Серга.

А за ним воронь — радужной масть:
Ночь, отливающая бронзой и рудой:
Дед — араб, отец — Орел, а сама матка
Из шестой книги дворянских родов.

А за ним на возу — личная музыка:
Скрипка, бубен, гармонь да рояль,
А за ними на тачанке попка „Кузька“,
Первый по банде жидомор и враль.

А за ним — конная. Косяки, табуны,
Кухня, палатки наряданья. Щербатая
дюймовочка, волчи бунты,
Тачанки с пулеметами, зарядный ящик:

Ехали казаки та ехали бузуки,
Дэ своротыли — зосталося на льду
Копытска печатня, зеленая грязюка,
Навозна юшка та самогонный дух.

Деревни объезжали — в хутора заезжали,
В хуторах хозяева — милости просю.
Атаману с есаулом парят и жарят,
Казакам каши, борща, поросю.

У которой лошади шишка, подпежье,
Язва, лизуха, або так мокрец,
Хуторяны сменявали на сухих и свежих,
Куноросью пичкали, аж пока окреп.

Ехала банда по тому по березаю;
В бубен тархтел передовой головорез.
А подле атамана, попригнувшись, как заяц,
Под галоп проходил подговор главарей.

Маруська тянула непременно на Царицын
(Там у ней любовник завалялся — ей бы с ним.)
Дылда был против: на город не зариться.
Князь Кутуз-Мамашев: обождать до весны.

Маруська тянула: „Да разве ж это жизнь?
Что мы тут такое? Воришки, тьфу!
А там — мы крестьянское движенье, анархизм,
Попадем в историю — это вам не фунт“.

„Зуб“ надвинул свой апашский берет —
Он мечтал о городе, как о Джьоконде:
Слямзить — стырить — сдонжить — сбондить —
Слящить — стибрить — спурить — спереть¹.

Дылда, гениальный молодой галчонок,
Никак не старше 19 лет,
Имевший на поясе турецкий пистолет,
На совести десятков удавлых ополченных,

Дылда, бесшабашный, забубенный, горький,
В наклеенных усах, по Улялаеву „тэмний“,
Зимой и летом носящий на темени
С хвостиком донышко арбузной корки,

Дылда был против: „Тута ворон — знакомый,
До чорта маманек, тачанок, кобыл.
Чуть понапрут — мы айда и дома,
Пойди разбери-на, хто у банде-то был“.

Князь Кутуз-Мамашев, хищный и мудрый,
Ус по-китайски лысый кусал.
Тайною мыслью ошурилась мурда
И потно под ним прокипел кайсак.

— Джирайда. Сугласен. Набег на город,
Там укрепиться, а пустепенно
В кантарах² грузить по аулам порох,
Стягивая в банду киргизлар из степей.

А пусле. Ночью. Выползть — и чжур!
Загнать гиньджял Улялаеву в сердце.

¹ Все 8 слов означают — украсть (воровск.).

² К а н т а р а — мешок для шерсти.

Урусских перерэзить, как бараний гурт,
И податься под знамя Турций и Персий.

Уй-баяй. Сам он будет хан,
Сорвав мурун-дук¹ российского ига.
И шлапачок наездника наизнанку прыгал,
По брюхо проваливаясь в бархан.

А сам гайдамак развалывся та таяв:
Трясці и матери — дівка права:
Вождь анархыстив Серга Улялаев
Идэ на вóйну за народни права.

Вин нэ допустыть ныяких безобразьев,
Три дни на грабеж, а тамо — цыц. Ны гу-гу!
И уже расплывались Пугачев и Разин
Под улялаевщины гұл...

Капая солнцем, закартавила труба,
Заливая уши расплавленной медью,
И долго было звонить и греметь ей,
Пока собиралася рада рубак.

Тут были гунны — верблюжники из Азии,
Крестьяны с онучами и козьей шкурóй.
Суровые Дюма-отцовцы южных гимназий,
Керенские прапоры и волки Шкуро.

Пока труба — тарйрора — грасировала тра-тара,
И разбухался облаком под лошадыми снег,
Вылез пейзаинин с жестами оратора
С затертыми подтеками от лапок пенснэ.

¹ Мур у н - д у к — деревянный гвоздь, который продевается верблюду в ноздри и служит для управления.

— „Братва! Мы сейчас выступаем в поход.
В поход, если хотите — крестовых рыцарей.
Мы должны устроить бойню пехот
Красной республики — Царицына.

Какая вам разница, где вам слечь?
Днем поздней или ранее.
Вы умрете! Но помните: вашу честь
Почтят в Учредительном собрании“.

Улю-лю! Го-го! Долой! Подавысь!
Геть к чертям! На чурбан его!
По стрибожьим низинам языческий свист
Мизинца и безымянного.

Растопырив ковбаски своей пятерни,
Батько, да гавкнув: „Цыц“ он.
„Сынки. Як я бачу, нема вжэ дурных,
Щоб за смэртью пойти на Царицын.

Ни. Я гадаю — не худо було б
По карбованци в ту полосу иты,
Только хто боится може пули у лоб —
Хай сидэ пид юбкой. Голосуйтэ“.

Папахи на пиках тысячами пугал
Замотались мохнатой горой.
И опять по отрядам во всю степугу
Выдробил банду барабанный горох.

И таборы двинулись.

На ветру выгоря,
В храпе задаваясь перед полком,
Под оуркой Дылды крылатый от вихря
Голубой в яблоках ёкал конь.

И вдруг лопнул. С визгом железо
Запело — и, ввинчиваясь в мороз,
Стекланным звоном в рожицу врезалось,
Корчуча петушки лапы берез.

Улялайцы сдрейфили. Отдали поводья.
Задние в шпоры — ау! Лататы.
Улялаев спокойно ухи поводит:
Смотрит — сакли аула та тын.

Смотрит: воинская кухня, телеги.
А на горизонте погромыхивает бой.
Вот звезданула буденновка. Егерь.
Ага: это красный обоз.

И вдруг рябью пулемет татакнул,
И под-гору всего в какой-нибудь версте,
Прямо на обоз в рассыпную атаку
Чьей-то конницей палит степь.

Белые с тыла зашли на займище.
Вот из револьвера рвется дымок;
Вот уже сабли хищно хлыщут.
Баста. Не воротятся домой.

Батько к своим совам приладил бинокль —
И карликами в круглый аквариум вплыли
Силуэты всадников, заостренный оклик,
Спирали ветра и пыли.

Обозная прислуга под обстреленный воздух
Порубила посторонки и пошла тупотиться,
Но туша битюжьего тяжеловоза
Не легкий аллюр кавалерийской птицы.

Медные монументы крупами качая,
Только распахивали землю зря,
И подкидываемые кашевары в отчаяньи
Дули бестолково берданный заряд.

Черные юнкера летели на голь,
Словно гарцуя в Петербурге на манеже,
И в школе отпущенной, влюбленно занеженной
Саблей настреливали синий огонь.

Но кое-кто вырвался. В роспыхе шинели
На миг мелькнуло золотое жерсе.
Тата. Татуся. А в сугробах келья,
Где на кровати распоротый корсет.

Там еще на столике лебяжья пуховка,
Глазастая сумочка из кожи змеи,
Там еще в зеркале — раскосенькие бровки,
Радужные зубы, губыньки мои.

Да еще в ноздрях его, как молоко крепкая,
Женской-испарины неистовая даль;
Да еще на пальцах ускользящая лепка,
Упругая, как ветер, нежная, как вода.

При ней батрак. Он лупит коня ей
И что-то кричит, да видно охрип.
И вдруг свалился коню под махры —
А сзади в упор гусар нагоняет.

Долго ли с девкой? Берут наповал их.
Вот перелапил к себе... На седло...
К лесу пошел теперь заморенный валах...
Целует, шкетюга... Отгибает ей лоб...

Эх-ма!

Улялаев був: выверчено віко,
Дірка в підбородце тай в ухі серга.
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той батько Улялаев Серга.

„Айда, нашша!“... Вылетал батька —
Над желтым клыком рыжебрівый рот.
Дулю ж вам, шайтани, нехай вашу мать-ка
Скрозь брюхо в рот и навѣворот.

Жах! Врубился! С чортовых ног
Вздыбил над прапором гриву в дым,
Брызнул в горло лунный клинок
По самые никуды... Мм!..

Гривы, гривы. Ордынская банда
Лезла как попало в свой орущий базар,
Пока запрыгал горох барабана
В пыльный пех резервных казарм.

Черной блещью, в облаке марев
В дзазанге скакал канонадный парк —
Як выйшла над гаем сизая хмара.
Сизая хмара, багровый пар.

*Аул Урда
(Ханская Ставка).
III — 1924.*

ГЛАВА IV

Буранск — город сытый. Хлебный вывоз
3 000 000 пудов в год,
Кожьё, джебага¹, пушнина, грива,
Мясной и молочный скот.

По жилам рек пивоваренный солод,
Выкунев, стал подюже расти!
Жирные залежи голубой соли
В 300 верст по окружности;

Кони табунами пасутся в дикости,
Зём по-над берегом — плюнешь — растёт;
Сочные поймы некуда выкосить —
Их обжигает степной костер...

А рыбы-то, рыбы... Судак, жерих,
800 000 севрюжки одной,
Черной икрою хлещется в берег
Якушко — золотое дно.

Парус у этих. Багор у иных.
Дует моряна². И по моряне

¹ Д ж е б а г а — ордовая овечья шерсть.

² М о р я н а — ветер с моря,

На мытых расшивах плывут поморяне
Овчинниковых да Махориных.

А утром раненько, в синий ковыль
Капают дегтем гужи на Саратов,
А их доглядает брюхатый старатель
Махориных да Овчинниковых.

Яицкие земли. Казачий почин.
Крепко жили станишные братцы —
Все кулугуры — старообрядцы,
Все шепелявые бородачи.

Триста лет как барщинный смерд,
Ролейный закупа, холуй, челядь
Утек на Яик воевать смерть,
Позабыв на Руси, как и жамкать челюсть;

Триста лет, как эти края
Окармливал кровью до дна, до Иргиза
Харалугом поскрёбанным башку кроя,
Выхлещиваясь в дыры от копья киргиза;

Триста лет своевольный цуг
Войсковых атаманов, старшин, хорунжих
Оберегал свою вольницу
От орды, Петербурга и всяческой Унжи.

Триста лет. А теперь — вольгóтня,
Что ни казак — 50 десятин,
Что ни хутор — голов до сотни,
До тысячи и до десяти.

Вот в силу причин каковых
В соленом золоте на благолепьи

Боем стояла казацкая крепость
Махориных да Овчинниковых.

И когда казакам объявили, что нехристь
Мордует Расею на жидовский шкиль,
И когда на форпост кавалеры наехали,
Кое-как подобрал кишки;

И когда над павшими грызлись волки,
Карга садилась на трупный кизяк —
Из рога табачок с вязовой золкой
Понюхал истово уральский казак.

Натянул он верблюжьего пуха чапан,
Полушубок мерлуший, крытый китайкой.
Сак-сачий тулуп. Соленая нагайка,
От дурного глаза — сайгачий пант¹.

И пошел копытами в поход по пашне.
Бороды зайндевели. От самих пар.
Осели на берег. Насупротив мар²
Занял Четыха, красный маташник.

У Четыхи шапка — соболья душа,
На плечах кафтан — ала бархата,
У того ли у Четыхи губы алые,
Губы алыё, сапóжки яловые.

Четыха — уральский казак-рыболовщик.
Он улавливал щук, кому шубы шьют,
Потрошил белуг — лаковые ножки,
Глушил осетра,
Что купецкого туза.

¹ Сайгачий пант — рога сайгака, дикого козла

² Мар — холм.

Апосля того сказал:
Дуй, босота, на базар,
Сграбим лошадь карюю,
Накормим пролетарию.

А спымали Артемия Иваныча,
Комиссара правды пролетарскойей,
Цедили ему груди красносokie,
Пытали его точку поведения,
Все его составы поворачивали
В обчем и целом дивствительно.

А и вышел декрет Четыху казнить,
Смертию казнить — не помиловать.
Но Четыханька-от он догадлив был,
Он срезал свое ухо на лодочку,
Лоскуток живота пошел парусом,
А жилушки на канатики.

И пошел он завтра на шафот-на плаху,
Поклонился на чстыре на стороны,
Взговорил постным голосом:
„Ой, вы гой есте, господа-товарищи,
Спросю я от вас об милости,
Об милости, о последнейей,
О последнейей что водицы испить,
Водицы испить ледяна ключа“.

Поднесли разбойничку ковшик воды,
И плеснул Четыха об лодочку.
Где вода пошла — тута озеро,
А где лодочка — там корабль плыл.

А Четыха с кормы улыбается —
„Не журитесь, не забуду вас,

Дождайте как снега тронутся“.
И воротился буденницей.

Так и стояли. Эти и те.
Переполыхиваясь винтовкой,
Когда Улялаев рекогносцировку
Выпустил на буранскую степь.

Ему не везло под Царицыным. Битва
Белых с красными. Всех частей.
Пришлось драпануть и опять меж рытвин
Конной армией оплясать степь.

Покуда залег. Набивались ободья,
Лошади ковались, и вышныривал мозг.
Вернулась разведка, доносит: свободен
На Чаган-реке металлический мост.

К вечеру воротился гончий:
Фронт большевиков и казачьих орд,
Но в городе так, ерунда — гарнизончик,
Каких-нибудь пара-другая рот.

Так прекрасно. План испытан.
Выждать ночь, кавалерию вплавь;
Обоз, обмотав обода и копыта,
Прошепчет рысь меж боевых лав.

И в мохнатой темноте тронулся лазутчик,
За ним в одиночку конь загонял,
Но тут в мост, отдаряясь тучей,
Вдребезги медь бризантного огня.

Хищным залетом отзыв засвистал.
Обозы попятились. Скупалась кавалерия,

Но вылезая мост анархистский стан
И базаром осёл на подгорный берег.

Костры в снегу зачидили подкурой;
Говор киргиза, хохла, казака,
Меж возов на веревке, горя как закат,
Сушились жаркие лисьи шкуры.

Сеном и соломой завален грунт,
Жеребята заливались в дискант тонко,
Мозолями бодался бычок-игрун
Средь груди зимней антоновки.

Кто-то плясал под дудочку — дуй его!
Пауком по дырочкам ногти от хны —

Как на зорь-зорь-зорь на зорё.
Как на?зóрике — на зóре? На зарё
Выходили в поле тии?хое
Жук-могильщик да с орлии?хою.

„Ты, орлиц-выдь-замуж за меня,
Ты, ор?лица, выди заму?ж за меня.
У меня ли у христьяа?нина
Будешь сыта да пи?танена“.

Гоп-чук-чук-чук гопапа
Поп попыне поперек пупа попал.
А попиha осердии?лася
Да попенком разре?ши-ла-ся.

Вот стали они думать да гадать.
Поп с популей стали дум?ть да гадать,
Спозараныку да доо?ночи:
Кем ба быть тому по?пеночку.

Кем попеночку, да кем бы яму быть,
Порешили: комиссаром яму быть:
Не воюет, не бороо?нит, чай,
Айда-себе телефонничай!

Глухонемой верблюжий хныч
Растапливал басом буйвол.

Он был величественен — как лось,
Воздух пел сазандаром, зурнами.
По небу хлопало и тащилось
Черное дырявое воронье знамя.

Желтые, красные, зеленые, сизые
Чуйки, махновки, да так барахло;
Саркастические рожи рогатых киргизов,
Свинные хари хохлов...

А из них там и тут подымает к верхам ствол
Черного висельника, где плакат:
„За комиссарство“. „Смерть кулакам“.
„За белогвардейщину“. „За хамство“.

И тут же у виселиц — чорт е што:
Граммофоны крутыми яйцами жирели,
Лошадиный борщ и казацкий штосс,
А на лысине снега арена зрелищ:

Сановито дуясь пышится, кокочет
Золотосинечервонный петух,
Пока подпущен на-лету
Рябоватый кочет.

Взял с карьера — прыгнул в бой.
Тот нырнул — он вперелет.

Пышноперое шабо,
Черный королек.

Нос к носу. Яйца щек.
Громких крыльев голоса.
Пиф! Перья. Пиф! еще!
Хвост ошипан, гол и сам.

Алый снег пушит-снежит,
Астма, брызги, звезды лап...
Пиф! перья — шпора — жиг!
Каюк, брат. Сдала.

Этой славной битвой под костровый угар
Забрызгана брезентная палатка без пуха,
Где, тухлым грибком от мороза опухнув,
К кольцу привязанный трясся Гай.

Почему не убил его бандитский блат?
Как это оставили чекиста на свете —
Батько, должно быть, и сам не ответит.
Кто его знает? Монаршая блажь...

Да еще безалаберщина. Анархисты
Не очень обожали судить да рядить.
Хочешь — айда в боевые ряды,
Не хочешь — шашьи свисты.

Тут как придется — не обессудь,
Смотря в каких они настроеньях.
Короче: был или не был суд,
Но как бы там ни было, Гай — пленник.

К нему иногда прибегала Анютка,
Прислуживающая Тате,

И громко шипела: „Барин, а? Ну-тко“,
И просовывала женское платье.

Но обок — обшитый кошмой балаганчик
В плакатах, приказах, колонках цифр
Под черным знаменем боевых командчей:
Череп и скрещенные берцы.

Там атаман. С любовью поздней
У слоя краснопегих овечьих шкур
Он сидел на барабанчике в детской позе —
Локти в колени, ладони в щеку.

А на овчинах, пахнувших мятой,
Видя какие-то дивные сны,
Глубоко спала усталая Тата
В синей полумаске от тени ресниц.

„Никого не впускать, кроме девушки Нелли“.
Наивно отдав часовому наказ —
Она зарылась под медведя николаевской шинели
У жужжащего казанка.

Милое такое, в паутинке симпатии,
Личико, где от подушки наспан узор.
Над ковром подрагивала кисть ее платья
В гаме азиатских орд...

Стремянным ухом к губам приложился,
Слушает нежный поддув ноздрей —
И от щекота хрящ неуклюже пружинился,
Губы сжигало, как на костре.

Высох язык. На губах роговица.
Ледок под коленками. Томящая печаль...

От сна у ней носик жирком лоснится,
И пахнет подмышками размокший чай.

И стал он какой-то густой и упористый.
Что там золото, слава, власть!
Вот оно счастье — и как оно просто:
Нежное дыханье, душистая влажность.

Вот оно счастье, захлеб этот, пыл, да,
Такое вот, что хочется тут же умереть...
На серой лошади вздыбился Дылда
Из-под бараньих морей.

За ним на аркане мотались крестьяне.
Дылда докладывает: „Во. Спionaж.
Как пошли отстреливать — которые поранены,
А вбитых чичире — и все, гад, наш.

Тые вон — засыпались тама в кукурузьи,
А этый цуцик винта в кусты“.
Улялаев гыгыкал, держася за пузо —
„Хай им чорт, байстрюкам. Отпустыть...“

Дылда изумился. Но его не касается.
Притянул повод, раскусил узлы.
И мрачно отъехал хмару излить
А те-то — тютю... через ямы, как зайцы.

Серга, ради шутки пугнув „Го-ё-ё“,
Ухмыляясь, вернулся назад в балаганчик.
Тата во сне оплывала, как раньше.
Какая она вкусная, как много ее.

Кровожадарь влюбленный, притухший охальник,
Громоздко на цыпочках у пухлой кошмы

Снова присел послушать дыханье:
Будто в ракушке море шумит...

Крылья ноздрей. (Пересох, задохнулся.)
Крылья ноздрей, как глотки, сосут
(Опять озноб) парную росу.
(Опять по вискам перепрыгнули пульсы.)

Тихонько-осторожненько пуговку на лифе —
Удивленно выкатилось спелое ядро.
И вдруг гривистой лапищи дрожь
Отшвырнула медведя на боченок с олифой.

Вот она: вся. Тут его началó —
Из могучей варухи ¹ напружились вязы ²:
Шелковые солнца золотистых чулок,
На статных ножках бабочки подвязок.

Молочно-голубой воздух панталон,
Где переливается лунная сорочка,
Где тело лучится... И взныл удалой —
Тата, моя жажdochка, темная ночка...

Пальчики забегали по кучугурам плеч:
„Миленький, не надо, голубчик“. Но в одури
Ржал, как „Ворон“, ударом колен
Распахнув ее сытые сливочные бедра.

Разбойничьи торги Руси с Ордынью
Затонули в мутную жужжь — и вот,
Когда в пышной ямке масляный живот
Уже золотился, сочный, как дыня,

¹ В а р у х а, или баруха — складка на затылке у быка.

² В я з ы — мышцы шеи.

Когда, воспаленный, уже у гнезда
Разлипал лепестки в вдохновенном нетерпении —
Вдруг — чорт, дернулся
Раз-раз и сдал
Невыносимой пеной.

Вскочил, зарычал, застонал от стыда,
В пляске запрыгал по лицу мускул.
И вспомнил, что это не в первый: Маруська,
Вторая, которая там... Да-да-да...

И понял Серга, что голод и тиф,
Расстрелы, задувы контужьего грома,
Этот солдатщины нищий актив,
Никому не пройдет, как промах.

Сволочной бог! Он знал наперед.
Он таки-выдумал им отомщенье
Даже тому, кого штык поберег,
Вошь пощадила, простил священник;

Даже того, кого штык пощадил, да...
Выбежал на улицу: „Бисова мать!
Хлопцы, по коням!! В погоню, Дылда,
Тых четырех обратно споймать“.

Рванулся назад. В зубах звон.
С треском домры лопались нервы.
Это в щиты его черепа — вой
Лаял нерожденный первенец.

Тата бежала, куда не зная,
Платье раздул тошный страх,
Но сзади с коротким топом и лаем
Догонял верхом при двух сеттерах.

Наскочил. Сдержал вороного жеребца,
Вытянул нагайку о раскормленные плечи
И так гонял, иступленно хлеща,
Пока не упала в рассечьях, в рубцах.

А разбойник скакал, скакал, скакал,
Зажмурясь и хлеща волчьи сугробы.
Тата! С какою желчью и злобой
Любил свою панночку — господи, как!

Ворон уже опустился и каркал,
Хромая с подскока — думал, что труп.
Серга налетел, собрал ее на руки,
С отчаяньем глядя на пузырьки из губ.

Копченный в ветрищах, по-волчьи седой,
Жал ее к сердцу и крепко плакал.
Конь, заплывая, уздой позвякивал
И жалконько порипывало мокрое седло.

Льдом и железом пах ветер,
Опушая веки голубой пыльцой.
Тата очнулась — и взгляд ее встретил
Резное из дерева, скорбное лицо.

И счастливым вздохом улыбнувшись в муке,
Щечкой прижалась к щетине рыжой.
С обожаньем обняли рассеченные руки
И в первый раз назвала „Сережок“.

ГЛАВА V

Вдруг загудели сонные шпалы,
Дзызыкнул по рельсам гул хоровой,
Поршнями и шатунами вышипая шпарит
Стрельчато буксуя сиплый паровоз.

В воздухе, просвистанном воплем истерик,
Над колоколами чугунных котлов,
Над красными теплухами и бочками цистерн
Нервно варился картавый клокот.

— „Аллюр“. Верхами узду через ров кинь,
А там по ростоши, где снег хоть и смерз,
На скаку разлетелись черnodубки, махновки,
Заячьи наушники с разнузданной тесьмой.

Шибаящая в кос улялаевская ругань
Жирнее копченого буженя,
Прыгала в печенки, селезенки и по кругу,
В бога, божиху и боженят.

Первые спешась — в зубы нагайку,
Сдунув усищ лебединое перо,
Вывинтили на разъезде гайки
И грохнули рельсы поперек.

Паровоз поперхнулся. Бандитский хаос
Осторожно в заезд протянулся в лаз.
Промышленник выскочил на вестингауз,
Крича, что он за советскую власть.

Машинист с молочными глазами от испуга
Не знал — сказать „товарищи“ или „господа“,
Но все же объяснил, что в цистернах уголь,
А нефть в вагонах, только путался в пудах.

Студент-путеец поймал себя на том,
Что забыл свое имя, но вспомнил: „Б. Боев“.
А с ним и этажерки, чеховский том,
Муху, раздавленную на обоях,

Абажур над лампой, сшитый женой
Из желтого шелка, чтоб было красиво—
А тут — степуга, ветра, „они“ — божемой,
Какая неуютная наша Россия.

Но смазчик крикнул: „Эй вы там, а ну-кося!
Скоро расстрел-то? А то до утра
Надо б еще перестукать буксы
Да подвинтить кой-где буфера“.

Смазчик! Здорово! Сердце пружит —
Всем стало весело, вкусно и тесно.
Есть ребята, с которыми жить
И погибать бывает чудесно...

Но Улялаев, обжимая ребра
Вороной лошади, щурил за Чаган¹;
Потом заховал в кобуру наган,
Махнул хвостом и тронулся: „Добре“.

¹ Чаган — приток Урала.

К вечеру с белым флагом смазчик,
Наш Б. Боев и спекулянт
Шли через мост на казачьи поля
И хором молились: „Господи, аще ..“

Хотя каждой Думе отпущен талант спать,
Но тут неудобно: исключительные дни—
Дело в следующем: для них
Прибыл неожиданно угольный транспорт,

Но так же неожиданно появилась банда,
Которая заняла чаганский мост—
Она пропустила бы, если бы дан бы
Куш эдак золотых в сто.

Что ж? Делать нечего — карманы, таращась,
Заплакали царенками в кожаный мешок,
И опять с белой тряпочкой, ожидая шок,
Поджимая коленки, ступало „Аще“.

Улялаев сунул мешок за пояс,
На тендере в уголь загруз кочегар—
И четкой чечеткой через Чаган,
Вкрадчиво накачивая, закачал поезд.

Шарики, пузырьки, бульбочки паров,
Маховик и кривошип
Покрыли путь, и в сифонном шипе
Состав влетел на перрон.

Еще кóкались о воздух голубые яйца,
Еще тормоз и колеса тянули „Si“,
Но теплухи в бабах распахнулись — й...
Черные от сажи айда улялайцы.

Дым пальнул музыкальным гамом,
Пулеметы поливали. Конница в облет.
Тройки, воздух пеня ногами,
Жженными копытами шипели об лед.

Дюймовка разразилась — и над городом гром-бух!
Сабли турецкой луны ясней,
Срубленные пальцы ощупывали снег,
Головы прыгали, дымясь, как бомбы.

Лужами мерзла лиловая кровь,
Оползая на снегу географической картой.
Весело скакал и звенел погром.
К вечеру стихло. Второе марта.

У здания театра афиша: борцы,
Водевиль „Вот так муж“ с участием Ауэр,
А над ним на казацкой пике траур —
Череп и скрещенныи берцы.

Там штаб. Двери ударятся.
Выклик: Ермак, Байгузин, Коньков,
И, паром дымясь, всю ночь ординарцы
Пускали своих мохнатых коньков.

И вот из тьмы гундосый квак,
Желтый фонарь, голубая шина —
И плавно подкатывается машина
С маркой на кузове: „Бенц-Москва“.

И штарчешки шаря галошей крыло,
Шам Махорин в собачьей шубе
Подбирает шкелет, и бандит трегубый
Из кузова прыгает чубом на лоб.

За ним багровеющий „Мерседес“
С цилиндром кареты, лоснящимся нагло,
И лихой казачина с шашкой наголо
Купэ раскрывает: „Пожалуйте — здесь“.

Дальше пошла вереница саней
И всюду под саблей быстроглазой и голой
Шинель николаевская, красный околыш,
Тонкая поддевка, песцовый снег.

И пока партер расцветал в нарядах,
Где шурился князь, моргал иерей —
Часовые грозили в удвоенных нарядах
Пулеметами с галлерей.

Занавес вздул свои облака.
И в путанице декораций и падуг,
Где громкой краской капал плакат:
„Собственность — кража“. „Анархия — порядок“,

Из-за черного бархата, где череп и кости,
Из папахного гнездовья бандитских вождей
В шашке, винтовке, нагане и кольте
Вышел теоретик анархизма Штейн.

Щегольская романовка, на ногах бурки,
Каких, однако, не носят на востоке,
Торжественное „Я“ отаращенных буркул
И от лапок пенснэ отеки.

„Граждане! Россия страна хлебороба.
Из них теперь 70% таких,
У которых при лошадности своя корова,
Своя десятинка, свои катки.

Значит в России средний крестьянин
Есть статистически „средний человек“.
Какой же нам смысл в двуглавой главе?
Куда ж нас буржуй и партиец тянут?

В довоенное время 70 дворянств,
Считая Прибалтику, Крым и Польшу,
Обладали землею вчетверо большей,
Чем 100 000 000 крестьян. Это раз.

Что ж они делали? Дабы не хлопотать,
Сдавали кому придется под ренту.
Приблизительно 72%
Этой земли захватил капитал.

А у буржуя табак не окурок —
Выписав разные „Люкс“ или „Дукс“,
Он по натянутой батрацкой шкуре
Отбарабанивал прибавочный продукт.

Далее, в силу поддержки властью
Аграрных культур, мельораций и прочего
Он разорял уже мелких крестьян
И также делал из них рабочих.

Но этого мало: русская рожь
Начинает искать заграничные рынки,
А там, как известно, народец приткий
И над биржей так и зудит мошкаррой.

Ну, тут конкуренция, ажиотаж,
Гусиный шаг на военный затылок
И пожалуйста бриться: Афонька наш
Удобряет землю в братских могилах,

Однако русский мужик — середняк,
Который живет натуральным хозяйством,
Ему ни кулак, ни бедняк не родня,
Он землю свою ни за что не отдаст вам.

Что ему рынок? Свое молоко,
Значит, и масло, и сыр, и сметана,
Своя балалайка да белая Таня,
Своя сошенка да белый конь.

Сам себе пан. На мозолях барствуй,
Знай себе распахивай какой-нибудь разлог!
Но вот тут-то и загвоздка: во-первых — налог.
Во-вторых — солдатчина. Как же-с: государство.

Но что ж это за штука государство? Пузырь,
Распухший из патриархального быта,
И, пользуясь тем, что свобода забыта,
Его раздувают попы да тузы.

Но если государство — господский туман,
Так надо же избавиться от этой петли:
Вспомним хоть Гегеля: „Выводы ума
Не зависят от того, хочу ли я, нет ли“.

С другой стороны коммунисты. Ну-да,
Братство, равенство. Что возразишь им?
Но мы задыхаемся, мы еле дышим —
То же дворянство, тот же удав.

Практика жизни и теория у них,
Как хлебный козел и созвездный овен.
Фурье, Кампанелла, Маркс или Оуэн —
Блестящие фантасты, но не больше, ни-ни.

Нет. Коллектив — это дутая бронь,
Под которой прячутся авантюрист и лодырь,
Трудящимся же массам это только одурь,
Как и религия, как серебро.

Мы, анархисты, подняли стяг,
Стяг беспощадной борьбы с держимордой
За личность, за святость ее, ее гордость,
Во имя и хищников и растяп!

Мы не позволим солдафонским коленям,
Зажав нашу душу, ее кудри остричь —
Все равно из Третьего ль они Отделения
Или из Особого Отдела 3.

Итак, резюмирую: я призываю
Каждого выбрать — свобода иль закон.
Надеюсь, что я среди казакóв.
Граждане—слово за вами!“

Серга, то вполне музыкально зевая,
А то в рассуждении ногти грызя,
Рванулся, услыша — „слово за вами“:
„Слово товаришшу Дылду. (Ты сядь)“.

И вот вышел Дылда. Голый, как язык.
Если даже мама родила его в сорочке,
То и эту сорочку он скинул. Короче —
На нем были только одни... усы.

Но он не дрейфил. Наоборот.
Стоял себе и дул в пупырýшки по коже,
Пока от хиха и хоха корежился
Этот непривычный к ощущениям народ.

„Гражданы! Ваша нация дюже резва.
Но плакать про это вы вполне достойны.
Вот видите, как ходють богоносные воины,
Каждодневно умирающие через вас.

Теперьча, значит, наш анархицкий сход,
Который есть за вас в боях закаленный,
Вынес: просить от вас миллиона,
А то очень масса пойдет в расход“.

Партер покрыт. Кабарэтный смех
Зацепился за глотку и полез обратно.
Как? Миллион? Да в своем ли он уме?
Сколько же это на брата?

Гай не слушал. Он вышел на воздух,
Но сзади пала чья-то тень.
„Итак, ваше мнение: не парни, а гвозди?“
Гай обернулся: „Это вы, Штейн?“

„Я. Пойдемте, так сказать, в таверну,
Пропустим рюмаху, а потом и закусон“.
И Штейн зашагал геометрически верно,
Как человек планирующий пищу и сон.

И циркуль этих размеренных бурок,
А с другой стороны — его лоскутная речь
Под черепом Гая в какой-то норе
Классифицировались из сумбура.

Пивная лужа лошадиной мочи,
Зеленая вывеска — омар во фраке:
Трактир „Растабаровка“ — „Мальчик! Очисть.
Пиво, моченый горох и раки“.

Острой бородки гофрированный каракуль,
Смех через ноздри при сжатых губах:
„Мальчик. Скоро там? Я просил раки.
(Не люблю России — тупа)“.

У Гая была ищейская снасть —
Он следил за его разговорной манерой:
„Ого, очевидно, скоро весна,
Если даже распускаются почки в мадере“.

Отбросил меню, повернулся и стал
Разглядывать стенные размалёвы для потехи.
„Западная живопись изрядно пуста,
Но: обожаю ее, как техник.“

Сравните японца: арбуз как арбуз,
Петушьи гребни и пузырьки морозца,
Но рядом гейша — такусенький бюст,
И вся лилипутного роста.

Варвары — ну, и метод такой.
Иное дело Сезанн, барбизонцы:
Они — композиция, план, протокол,
У них на каркасе солнце.

А тут полюбуйтесь: ведь здесь наши судьбы —
Лимон, банан и... зеленый лук.
Эх, взять бы этот лук, тетиву натянуть бы —
Да в Русь! Чу-чу! Свинопасом на луг!

А с поэзией лучше? У Эдгара По,
Который, я подчеркиваю, Пушкину был сверстник,
Стихи наплывают по каплям в перстни
И россыпь акrostихов гнездится между пор.

Возьмите Вийона: баллады своих оргий
Он строил транспортиром — не на глаз, а на градус.
Возьмите Маллармэ, с его манерой радуг,
Где „счастье“ в то же время расцвечено и в „горе“.

А мы. Что у нас? Беспризорный Есенин,
Где „вяз присел пред костром зари“?
Да ведь это же Япония, как я говорил:
Огромный закат да под лиственной сенью?..

Вы скажете: случайность. Но нет—я берусь
Доказать, что Пегас без хлыста обнаглел.
Например: „Сторожит голубую Русь
Старый клен на одной ноге“.

А где же другая? Утолите мои нервы.
Иль от этой ловкости надевать мне панцырь?
Вы себе представили всю грациозность дерева,
Которое балетно стоит на пуанте?“

„Видите ли, Штейн, я не так закален.
Но вы-то как сказали бы — любопытно право.“
„Я бы сказал — „одноногий клен“
И разом вогнал бы образ в оправу“.

„Ка-кой придира! — а скажите-ка вы
Ну, „медведь ковыляет“ это грамотно?“ — „Что же!
Ковылять глагол от слова ковыль,
Значит белый медведь ковылять не может“.

Гай его пальцы на пальцы вздел:
„Бросимте все эти стихи —
Слушайте, Штейн, что вы делаете здесь?
Никогда не поверю, что вы анархист.“

Эта точная поступь, этот точный словарь,
Любовь компановки, неприязнь к стихии,
Самая манера расцветивать слова —
Да разве в шпане такие?

Наконец, этот шахматный ход на трибуне.
Критика урывками из Маркса. А дальше?
Где постулат? Его нет и не будет.
Вместо него истерика с фальшью.

В пулеметном порядке начали браться
Говард и Штирнер и тут же Прудон.
Жалко, Толстого забыли. Притом
Из Руссо передержка. (Вы помните — братство?)

Наконец, ваши цифры. Пф. Хо-хо!
Семьдесят, семьдесят паки и паки.
В Талмуде есть пословица: „Семь это враки“.
Но это не безграмотность. Повторяю: ход.

Кто ж вы? По размаху — вы не трудовик,
Для него вы, кроме того, слишком рафинированы.
Что же до эс-эра, то и тут, увы,
Вы не любите России — значит вырваны.

И все же в вас напичкано того и того,
Вы эс-эр в меньшевизме и меньшевик в эсэрстве;
Типичный петербуржец, чопорно-дерзкий,
С гипертрофированной головой.

Мне так и чудится: английский кэпи,
Ваш прорезиненный макинтош
И в серых губах папираса — „Скепсис“,
Приподнятая бровь и дежурное „Не то“.

И вы — вы сильны. Нет, больше — могучи
Этой вечной усмешкой бритого сатира
Над всем, кто увлекает, зовет и учит
Святой банальности о счастье мира“.

Штейн поднял палец: „Спокойно, сэр.
Кружечку пива. (Не мочите мизинца.)
Итак, дорогой Пинкертон, мой принцип
Не отпираться: да, я эс-эр.

Понятно, не такой, как Сазонов или Ропшин,
Я более расчетлив, если хотите — низмен,
Но все же я эс-эр, так, говоря в общем,
Конечно, с оговорками и ревизионизмом.

Но, отдавая должное вашей хирургии,
Точной до секунды, как хронометр Бурэ,
Все же замечу — это другие,
А я — до последней кровинки борец.

Ведь большевики захватчики власти,
И нужно мутить и мутить народ,
Пока наши люди кого следует налестят
И на Западе вопрос хорошенько нарвет.

А там оккупация. Серый террор.
Какая-нибудь Дума, как венец революций,
Но до этого времени народная прорвь
Ни в коем случае не должна затянуться.

Рабочий сагитирован. Интеллигент — пустяк.
Нужно помнить, что такое Россия.
Мы ориентируемся на крестьян
И будем будировать и трясти их.

Теперь по вопросу дня: как?
Партия наша переживает кризис.
Мелкого хозяйчика и средняка
Приманишь только на анархизм.

Зато это средство — вернее смерти,
Что ни час — то новый аршин.
Вот вам проект политической коммерции,
Которая в будущем даст барыши.

Да, виноват. Я горланю, как гусь,
А вы, небось, сидите да на ус мотаете.
Кто вы? И если узнать я могу-с,
Я распускаюсь в ухо. Катайте“.

В памяти чекиста вздулся архив,
Но Гай не тронул его сонной идиллии.
„До сих пор я, видите ли, был анархист,
Но вы меня, кажется, разубедили“.

Уральск. IV — 1924. Тверь. X — 1924.

ГЛАВА VI

Кобылье сало жевали у костров они —
Косые, лопухие, с мяучьей кличкой;
Но гимназёры разочарованы,
Упрямство с отчаянием гонялись по личику.

Отваги у них — латинский кувшин,
Да дело не в этом: их меч только вытяти;
Дело в другом — например: вши.
Этого Сенкевич и Майн-Рид не предвидели

Не всякий уснет, ночника не спустя;
И потом другое, да-да, это тоже:
Для него-то, конечно, мама пустяк,
Но мама без него, понимаете, не может.

А у них коридор будто уличка,
А на ночь на столике коржик.
Мамочка, моя мамулечка,
Пропадает твой мальчик Жоржик.

И все же, хотя бы их обожрали черви,
Они не уйдут ни за какое злато:
Их сердце, классически скроенное червой,
Пришпилено к имени „Тата“.

И эти две оттененные буквы,
Ее обаятельный облик,
Качались под веками и на хоругвях
В мехах ресничьего соболя.

Это ей то в интиме, то в барабанном грохоте
Бряцали канцоны, сонеты и рондо
О голубой перчатке, о шампанском манто,
О луночке на ногте.

Но так и не узнал их рыцарский орден,
Что эти томления яви и сна —
Очередной расходный ордер,
Ибо — была весна.

Чалая козлица с мокрыми ноздрями
Сапнула воздух и сказала: „Май“ -
Но она ошиблась — был только март,
Хотя уже снега кипели всяческой дрянью;

В клочечках, сучечках и птичьем пуху
Пузырясь крутилось топленое солнце
Ручьистыми пульсами, полными подсолнух,
Лепеча веселую чепуху.

А потом шел дождь и сбежал по лазейке,
Проливным золотом на тухлой заре,
И даже лужи изумленные глазели
Стоглазьем лопающихся пузырей.

И Тате почему-то было чудно-смешно
От этих лупастых лягушечьих буркул;
От индюка с зобастой мошной,
Который, подъехав, ей что-то буркнул;

И то, что в небе налив голубой,
Что воздух, как море — густ и расцвечен,
Что восхитительно жить на свете,
Когда по глазам полыхает любовь.

И пока, стрекоча сверчками, галоши
В водянке снегов разбухали след —
Улялаев, подплясывая и волнуя лошадь,
Умильно глядел ей вслед.

Он ей завидовал, что она — Тата,
Что она всегда с собой неразлучна.
Но звал его освистаный знаменем театр,
Сквозняком простуженный и хрипами измученный.

И слегка шевельнулись отекие ковбахи,
Закованные в боевицы из колец и перстней;
Опять цветные ленты рассыпались по шерсти
С погонами, вплетенными в гриву карабаха.

А грива кровавого, как ворон, коня
Играла струйками часовых цепочек,
А женские груди его даже ночью
Сверкали водой каратного огня.

И снова зарипела в стременах стрекотуха,
Морщины решоткой построились на лбу:
Сегодня заседание — приехал инструктор
Южной федерации анархистов — „Бунт“.

Улялаев. Мамашев. Дылда. Маруся.
И покуда свобода входит в азарт,
Дылда надувался — вот-вот засмеюся,
Маруся боялась поднять глаза.

Анархист Свобода, бунтарь-вдохновенник,
Старый каторжанин в голубых кудрях,
Сокрушенно укорял: „Да не надо ж вам денег,
Путаники эдакие — зря.

Деньги — ведь это орудие рабства,
На них-то и возник буржуазный режим.
А вы? Не калеча старых пружин,
Вы только создадите новое барство.

Второе: не должно быть места разговорам
О тюрьмах, о казни, о спуске в ров,
Ибо нельзя же бороться с вором,
Воруящим в обществе воров.

Поэтому как только вы захватите пункт,
Сейчас же выпускать уголовщиков. Просто?“
Маруся: „А как же, если бунт?“
„Какой такой бунт, не понимаю вопроса“.

Улялаев: „Та гóди, слухай там баб,
Бреши соби дале“.

Маруся: „Почему же?
Я могу пояснить. Предположим пальба,
Режут обывателя. Защитник-то ведь нужен?“

Дылда: „Дык што жа? Чегось кажись лучше —
Стряхай пулемету — и жарь пономарь“.
„Что вы! Ни-ни. Ни в коем случае.
Только убежденьем, только логикой ума.

Ведь если бы мир был построен на аде,
Был миром волка или совы,
Но в том-то и дело, что наш массовик
От природы вовсе не кровожаден.

Ведь ясно доказали юристы и врачи
Всю нелепость „типа убийцы“ (Ломброзо),
Поэтому в первую очередь лозунг:
„Преступление — нарыв социальных причин“.

Значит нужно бороться не с самим злодеем.
А с причинами, стравившими его на злость“.
Мамашев: „Яхши. Эту самую идею
Говорят большевики“. Улялаев: „О-сь...“

„Ну, так что же. И все-таки: остроги и тюрьмы,
Они — диктатурщики. Им нужен переход.
А мы непреклонны. В грохоте бурь мы
Прыгнем в анархизм всенародной рекой.

И тогда будет жизнь, как дно в лагуне,
А личность — не рахитичный шарж.
Но для этого выйдем под медный марш
„К свободе через свободу!“ (Бакунин).

Прянишная тройка, измазанная в охре,
Айда по тротуару в бубенцах цепей.
На парнях галифэ из портьер кинематографа,
На ямщике горжетка — голубой песок.

Смаху кони осели на круп,
Захлебнулись в ошейниках колокольца.
„Руки вверх!“ Лицо. И рупь
В карман, набитый обрубленными кольцами.

Геть! На Главной кричали тачанки,
Наскакивая колесом на стенки, в стекло,
Улялаевцы пьяные валялись из чайной,
Кому-то в морду, из кого-то текло.

Вырывая с корнем пейсы из жидюшка,
Лапали гражданок втроем за углом,
И по всем известкам жирным углем
Написано „хрен“ и намалевана пушка.

А Тата шла, задушевно смеясь
На самой вкусной струне из голоса.
И платье, радужное, как змея,
Отливало, шипело, прыгало и ползло

Тату гнала какая-то власть,
Тата, разбрызгивая пежины снега
Так, что коленки были мокры — с негой
Оглохшее эхо звала.

Ее наливало томлением взбухнуть,
Вскормить яйцо, как янтарь на вымет,
И Тате казалось, что в лифчике вымя
И сладко бесстыдное слово — „брюхо“

И вот пришла на пустынный берег,
Здесь, может быть, ящерицы и фаланги,
Но только здесь на лебязьих перьях
Явится ей осиянный ангел.

Пусть испарит, вождедея к Тате,
И, содрогая крылами тени,
Ей как любовник вдунет зачатые,
Чтобы, как в мифе, родился гений.

Закат сатанел. Облака тонули
В сусальном золоте ладанным туманом,
И перекачиполе и новолунье,
Места незнакомые да и сама она...

И вот с востока и юга навыхрест
Облепил, обтянул ее шелковой бронзой—
И она отдавалась морскому вихрю,
И пачкали платье капли солнца.

Мускулистый ветер, задыхаясь от счастья,
Вспыхнул об волосы и рассыпал в искры,
И она улыбалась, щекой к нему ластясь,
И тихий свет ее глаз был искрен.

Изо рта сделав „о“, его голос ловила,
Его свежим звоном полоскала зубы...
Этот скользкий торс из медузы вылит
И как статуя льда — голубый...

...А по окраине тянулись возы
С мебелью красного и черного дерева —
В цветных кожухах бандитских возниц,
По мокрым дорогам — в деревню, в деревню.

Казалось, город переезжал на дачу —
Матрацы, самовары и (крестьянская ревность):
Сбоку неожиданно гравюра Боккаччио,
Крайне изумленного — в деревню, в деревню

Аптечные баллоны духов и ревеню,
Какая-то вывеска с медалями в рубль —
Все это Гнедко задумчиво хлюпал
В деревню, в деревню, в деревню, в деревню...

...А домой возвращалась по затянутым лужам,
Утоленная, звонкая, занюханная ветром,
И думала: „А что у нас сегодня на ужин?
Должно быть, котлеты в полтора метра“.

Но что бы там ни было — вилкой отклевав,
Накапав на стул у постели свечку,
Она непременно за сегодняшний вечер
Окончит Гамсуна и примется за Льва.

Навстречу швыряя колокола штанов,
Дуя вонь из газетной цыгарки,
С золотыми якорями через ленту „Новь“
Шатался матросяга и харкал.

Его знобило, и он искал погреться.
И вдруг лафа. Какая-то бабенка.
Ишь-ты. Кусаться? Втягивать губенки?..
Это от кого же? От черного гвардейца?

Но Тата вырвалась, и он, похабно зыря,
Сдунул харк, обкуренный и горький,
И слизь, ляпнув, поползла пузырясь
Зеленым ядом по шее за норку.

И стало ясно: от жизни устала.
Ничего не нужно. Мертвая скука.
И кто-то в висок настойчиво стучал,
Что ангелы — глупость. Что их не осталось.

Керенские прапоры все видели у столика.
Черное пиво сопело ноздрями,
Но никто из них не тронулся, и только
Ломали пальцы — и всем было странно.

Но матрос ворочался. Присел на бруствер.
Треснул спичкой — и рыжий ужал
Лизнул сафьян „Истории Искусства“,
Трезубой короной яростно жужжа,

Керенские прапоры страдали от сплина.
Что это все? Грабеж или ересь?
Липовые командиры рыскали карьеры-с,
А какая тут карьера, если нет дисциплины?

С печальными глазами, не в силах отстраниться,
Но по-демагожьки растягиваясь ртом,
Смотрели, как в пламени роскошный том
Пеплился, от боли листая-страницы.

Ганзейская шхуна. Вот кошка и пинчер.
Вот натюрморт и Бордо.
И листнулись вдруг глаза Леонардо да-Винчи
Над струистой золотистой бородой.

Один из них не вынес. Шарапнулся руками,
Но рыжий язык стёр.
Дергая ртом он булыжный камень
С яростью брызнул в костер.

Прапоры захлопали: брависсимо, Краузе!
Но вдруг из гурта, где отдувался зубр,
Кто-то, рванув музыкальный маузер,
Вдарил огнем в зубы.

Поручик Краузе. Метнулся пробор.
Устоял на ногах. — „Господа офицеры!..“
Поручик Краузе. Руку в борт,
Левой, как на дуэли, целя.

Бац! Офицеры заняли кафе
И под прикрытием мрамора и стульев
Уже — (бац-бац!) — своротили лафет
И пустили стакан в нарезное дуло,

Но тут — матросá. Но тут мужики.
Под мат и галдеж в киргизские оґды.
Дззз... заскулил орудийный шкив,
И в панике шпана удирала из города.

Заунывно отвыв, разорвался выстрел.
Загремела шрапнель, ковыряя тумбы.
И оторопев, отрезвевшая лумпырь
Принимала на штык остервенелых гимназистов.

И сразу каждый так или йначе
Понял, что это не спросту бой —
„Да здравствует Леонардо да-Винчи!“
„Интелигузию бей!..“

Анархистский штаб прискакал на площадь,
Свобода сунулся в рухлядь баррикад,
Но вмиг обломилась миротворная рука,
Маруська разрешила это проще:

Каждый атаман отзывает своих:
Мамашев киргизов, а Дылда русских.
И когда в полчаса отгремели бои,
К прапорам подъехала Маруська.

Серая лошадка, нахально подцокивая
Серебристым дробиком умеренно крупным,
Прошлась бочком, им в лицо кивая,
По-проститутски играя крупом.

Купринский штабс-капитан захихикал:
„Да она ей-богу аппетитней хозяйки“.
„А рысца ничего, как ты думаешь, Мика?“
„Ерунда. Я даю ей фору до Яика“.

„Не много ль?“ „А что?“ „Да твой Одноглазый Грузноват пожалуй, хоть ноги и длинней“.
„Пари“. „На что?“ „Раз по морде“. „Согласен“.
„Ну, что же, господа — стрелять или нет?“

Благородный клуб немного опешил:
Как никак — женщина, пусть даже брак.
Но купринский штабс, багровея плешью,
Заорал: „Полковых Мессалин убрать!“

Пуля заерзала по земле вброд.
Лошадка обиженно вздернула голову,
И в ропоте опора попыхивало олово
До самых театральных ворот.

Тогда на баррикаду молодого оборонца
Из ворот театра — еще за версту
Гремя колоколами басовых струн —
Помчалась конная бронза.

Ряженный жеребец былинных держав
Скакал, и медью звонило брюхо,
И латы его мышц отливали глухо,
Где зеленела от окиси ржа.

На нем неподвижно, подъяв подбородок,
Сплющенный свистами вешней пурги,
Мчал в величественных дорогах
Самодержавнейший анархищ.

Дланью забрав храп жеребца
И широко растопырив копыта,
Памятник врылся, и воздух разбитый
От боли бубенцами забряцал.

Т. к. прапорщики — дети буржуа и кустарей,
То по традиции дворянской чести
Они тут же поклялись меж собой на винчестере
(Меч давно устарел).

Атаман не любит со смертью хитрить —
Он где-нибудь здесь в ответственном месте,
И Краузе в сладострастии мести
Дулом искал вождя из витрин.

Всадник чернел на бугре. Плеть.
Чугунный кабан, кривоногий от мяса,
И сам монарх, о бедро обопрясь,
Тяжело нагруженный массивами плеч.

Краузе вздрогнул. Где он видал,
Где видал этот груз, эту позу?
В кнехтских музеях? Или в Италии?
Нет, кондотьеры изящней; на озере?

Ба, Петербург! Эта, как ее, площадь —
Медь императору Александру-Три.
И Краузе в восторге флагом полощет,
А винчестер сполз, отцарапав штрих.

Ночью по городу шел патруль,
Проверяя у прохожих пропуск;
Ночью Маруся загнула трюк
Касательно введенья Агитпропа.

По типу „красных“ — при каждой части
Должен быть Политотдел.
А инструктор врет: никогда и нигде
Нельзя обойтись без власти.

Свобода вскочил. Но нелепы усилия.
С ним не считались (Трепло! Орган!).
Агитпроп утвердили. Тогда Серга
Запросил, каковы у них силы.

По сумме подсчетов каждого начальника
Около трети их полчищ
Рассыпано по степи. Это печально.
Серга — так тот даже щелкнул от желчи.

Кроме того, Золотой Зуб
Испарился со всей своей хеврой:
Знаменитый мокрятник разом севрил¹,
Что у банды шатается зуб.

Батяка серчал: беглецов перекроют,
Допытают про банду — сколько да как.
А после как двинут тебе каюка,
Аж только обмоешься кровью.

Надо подкинуть „красным“ письмо,
Чтобы те со страху за Чаганом заперлися.
И Серга, проведя жидковатый смотр,
Колбасными пальцами накатал бисер:

„Дорогие сволоча коммунысты!
Отдаю до вас приказ разверстку сократить,
Каковую аж сам осподын прыстав
Драли послабже в четыре краты.

Сие сообщается отнюдь не для облаю:
Ну, как у банде больше нема вже местоу —
Каждый дён мужиков сто
Остаюсь народный Улялаев“.

*Кашин, Х.
Астрахань. XI — 1924.*

¹ С е в р и л (воровск.) — догадался.

ГЛАВА VII

„Июнь 20-е. На станции „Верблюжья“
Убили коммуниста и взорвали полотно“.

„Июнь 21-е. Приезжал Блатной.
Спрашивал, может быть он тут нужен.

Отшили. Своих небось некуда деть.
Уехал. Говорил, что налетчики Одессы
Сенька-Сахалинчик и с ним человек десять —
Просятся к нам — они там не у дел“.

„Июнь 25-е. Остановили поезд.
Публика — мешочники. Один — кооператор.
Молодой такой, шустрый. Кричал „пираты“.
А денег всего 100 миллиардов с собой.

Думали больше. Пустили на „пйку“.
А деньги — Дылде (он крепко скандалил).
В тюремной теплушке нашелся кандалный
Какой-то офицерик. Возьмем за него выкуп“.

„Июнь 30-е. Сегодня Серга
Шлялся пьяный и рубал прохожих.

Трое замёртво, но четвертый ожил[†].
„Июль 2-е. Пронесся ураган“.

„Июль 6-е. Ввели к Серге
Парламентера советских республик.
Атаман потянулся к своей серьге
(А серьгой-то висел серебряный рублик)

Да эдак в пальцах измявши вдруг
(Хоть правда и сам побледнел-то уж как):
„На, — говорит, — я рабочему друг —
Для милóго дружка и сережка з ушка“.

„Июль 7-е. Вчера был почин.
Сегодня приезжал деникинский поручик,
Привез приказ на генеральский чин.
Крути, Улялаев, усы покруче“.

„Июль 10-е. Были в кино,
Смотрели „Фальшивый купон“ Толстого.
Мозжухин дуся. Лакали вино.
Дылда наскандалил и немного арестован“.

„Июль 20-е. Взорвали „Вороное“.
Локомотив пустили под откос.
Я ушибла палец (наружной стороною),
И теперь растёт какая-то кость.

Краузе тоже болен. Хорошенький мальчик.
Читает Полежаева, становится в эффект.
Вот бы хорошо бы с ним скопить капиталчик
И где-нибудь открыть ночное кафе:

Лампочки бы красные, портьеры на блоке,
Столики в стекле, а под стеклом стихи,

Какого-нибудь модного, например, Блока.

Ох, как я устала от стихий“.

Маруся дописала. Подсушила над свечой.
Краузе... С ним она не ссорилась бы веки.
Э, да что мечтать. Тряхнула плечом,
Вздохнула и подняла веки.

Женская тень раздевалась на стене,
Держа в зубах зазубренную шпильку.
„Ты умеешь гадать по рисунку теней?“
Пауза. — „А что — Серга небось пылкий?“

Гостиница, где жили Маруся и Тата,
Хорошенький карточный домик,
Рассыпалась об уличку, да и та-то
Заикаясь валилась под номер.

А в этом номере было темно:
Военный спец в соломенном кресле,
Упирая венгерки шнурованных ног,
Качался и думал песни.

Роста небольшого, в щеках слегка обрюзг,
Орлиные очи, брюшко, но плотность —
Хоть он приближался уже к сентябрю,
Но им не маслили батальные полотна.

А он их искал. С кадетской скамьи,
С юнкерских пьянок, с гусарских дуэлей
Мучился мыслью, что неужели
Жизнь пройдет как миг?

Люди обычно дней не замечают —
Живут как живется, только бы как все;
Лишь иногда за трубкой, за чаем,
А чаще в вагоне, плывущем в овсе,

Когда опустеет усталый чердак
От папок, телефона, заседаний и пульки,
Бывает, газетных будней черта
Распускается в тухлой мечтульке.

Но Зверж не мечтал. Даже весной.
Философия его выражалась мыслицей:
„Я не знаю, зачем я родился, но —
Раз я рожден — я должен вцепиться“.

Он был умеренный штирнерианец
Под соусом ионийской школы,
Но звон шпор и погонный глянец,
Но даже его гусарский околыш —

Всё, в чем армейская чвань плыла,
Для Звержа — пузырь. И гроша не стоит.
У него на века прищуренный план:
Прокатиться над миром звездой!

И с юности в зубрежке, муштре и дудье
По хронометру процеживалась каждая минута;
Он стал учитывать каждый день,
Записывая: научился тому-то.

Стратег, теоретик, четкий, как кóдак,
Лет за 12 наконец накатал
Плотный томик — технический кодекс
Рейдов, позиций, разведок, атак.

Но издавать он не думал. О, нет.
Карьера военного писателя и лектора
Самая тусклая в поле того спектра,
Который расцветает перед Мозгом на коне.

О, нет, он выжидал. А пока,
Оловянные солдатики расставляя в панике,
Вел хитроумнейшие кампании
Combinaison'ом из „т“ по „к“.

Основная военная мысль Звержа:
Солдат — это ноль. Командир — это все.
Но дело не в том, чтоб держаться тверже
И авторитет чтобы был высок.

История учит — татарская „лава“
Сильнейший метод, где требуется зверь.
Но разве (по Мольтке) конторский ландвер
Чопорной шагистикой их не раздавит?

Боевой опыт ему показал:
Сражение не битва, а бегство и погоня,
И в ней животная психика коней
Столько же весит, сколько сам казак.

А так называемый „дух“ — ерунда.
Храбрости нет — есть стычка количеств
И их впечатленье от прущих наличий
Солдат.

Поэтому цель командира — добиться
Сведения к нулю одушевленности масс,
Так, чтобы выделить из нервов и мяса
Механику жестов рубийцы.

Иначе говоря, надо сделать так,
Чтоб в шансы не шла истерия части,
И какую бы линию ни приняло несчастье —
Найти для нее командный контакт.

Отсюда новая система боя:
Положим паника, буквально рябит вас.
Как общее правило, паника — проигрыш,
И ею кончается битва.

Но бегство перепуганных Жиздр и Коломн
Отмерь на план — и хаос построен:
Где распыленность — рассыпанным строем,
Где толпота — подобьем колонн.

И вот тут-то запасный командный состав,
Свой влёт из резерва вырубив резко,
Режет глаза своим кивером (сталь),
Управляя по плану случайным отрезком.

И так проскакать впереди, как в парад,
Чтобы дать осознать солдатне организацию,
Вдруг на дыбу повернувшись к братцам,
Грянуть — „Бригада, ура!“

Но для этого структуру гарнизонного болотца
Нужно подставить под свежую струю:
Строить солдат в шеренговом строю
Не по росту, а каждый раз — как придется.

Таким образом, взвод, отделение, звено
Никогда не будут знать заранее, кто в него заедут.
И конник, не привязанный к своему соседу,
Паники от строя не отличит под войной.

Отсюда ясно: паники нет,
Это тип измененного строя — и точка.
Пока боец еще на коне,
Сражение не кончено.

Эту теорию всей своей жизни
Пробовал пальцем на остриё,
Огбывая в Коломне, в Голте и Жиздре,
Наступая на Сан и Острог.

И теперь, не вмурованный больше в казармы,
С их казенной муштрой полинялых слав —
Он искал своих собственных армий
И в них королевский лавр.

И в самом деле: Россия глуха,
А чего-чего нет... Пшеница и ворвань,
В поле лисица, в лесу глухарь,
А коммуна нелепа, а царь надорван.

И Запад придет разбазарить на колонии,
Кроя ее карту шпорной звездой,
Но армия Звержа конной колонной
В какой-нибудь Кахетии обрубится в гнездо.

И те, оборвавшись на этих хижинах,
Оставят их в покое, даже станут покровительствовать
И будет королем у них наемный хищник,
Чужой по религии и по крови.

Итак, он сидел, качаясь в темноте,
Вздremнув под шушуканье болтовни сорочьей,
Пока на стене раздевалась тень
И тело чернело в дыму сорочки.

И вдруг в простенок тревожное: тук-тук.
„Да-да?“ „Послушайте, вы ничего не слышали?“
„Нет, а что?“ „Такой воющий звук,
Длинный такой, пролетел над крышей“.

Дыханье снаряда, взорвавшись в дым,
Отдало грох об гостиничьи ребра.
„Голубчик, золотко, будьте же добреньки —
Что ж это, боже мой... Воды...“

Свечной язык зарывался в копоть,
Стакан подзванивал, расплескивая воду;
Женская тень в ставенном хлопаньи
Спешно одевалась и прыгала в воздух.

Второй задув, осыпая окна,
Дрызгнув, цокнул осколок о лад
Медно-зеленых шоломов, и дрогнул
Колокол около колокола.

Зверж прошел в соседнюю дверь,
И Тата в ужасе кинулась на плечи.
„Ничего, успокойтесь: Карл Зверж,
Имею честь. Вы можете облечься“.

Но Тата ничего не понимала. Дрожа
В чулках и панталошках, она жалась к офицеру.
Контуженная улица, освистанная церковь,
Скокот подков, гудеж горожан.

Пузатый окуляр морского бинокля
Стянул вокзал, шатавшийся от боя:
Там хйщно притушив свои стекла,
По рельсам гильзой скользил бронепоезд.

Облитые сталью башни под роспись
Лениво курились дырами жерл,
И по улице прыгала железная оспа,
Наспех рыща жерів.

Под самым окном, поперхнувшись пулей,
Развалился прохожий, и смок рукав.
Тата вскрикнула и в жмури уткнулась —
И вдруг на талии заныла рука.

Тата подумала: он маленького роста,
Поэтому его ладонь пришлась на бедро.
Отчего же он вздрогнул? И в челюстях дробь.
„Разве вы боитесь?“ — спросила просто.

Потупился. Налившись, передвинулись уши.
И вдруг она почувствовала, что совсем раздета.
Вырвалась за ширму. „Там на столике груши,
А я, я сейчас... Только гетры мои где-то?..“

Третий раскололся в губернаторском дворце,
Прорыв туннель в катализме судорог.
Но Тата не заметила, занятая пудрой,
В своем, теперь единственном, золотом жерсе.

Встретились в зеркале. Экая красавица.
Его все улыбало, но супясь через силу,
Оттого, что и она краснела и косила,
Понял, что и он ей нравится.

И она. Она тоже. Поняла. Эго самое,
То, о чем поется в романсе „De morte“
И еще в народных песнях, напр. „Ты коса ль моя“.
И ударил, лопнув, четвертый.

Гай вбежал, широко дыша,
С энергичной пастью, от бега запарясь.
Из техноложьей куртки волохатая душа
Распирала верблюжку, как парус.

„Тата. Ффу-ты. Ох. Ну вот.
Они еще думают, что я их пленник.
Накинь манто, бежим на завод.
Там переждем отступленья“.

Но ведь голос у Гая был суховат,
Не такой, как у Звержа — в прокатистых дрожьях.
Но ведь волосы тоже — степная трава,
Не так, как у Звержа — ежик.

И когда в автомобиле Улялаев и Зверж
Ее укутывали от ресниц до пяток,
Над самым базаром, выстривая взверть,
Павлиний хвост расфуфырил пятый.

Бежецк.
X — 1924.

ГЛАВА VIII

Несмотря на эпидемию и пестроту наций,
Юго-восточная группа
В составе 1-й, 6-й и 13-той
С успехом гремела Тулой и Крупном,

Пока, наконец, в ночь на август
В 20-м часу под „ура“
Пал прокопченный в газах Буранск,
Открывая ворота на Ханскую Ставку.

Теперь положение было уже следующим:
Тринадцатая армия занимала берег,
Шестая линию Дюдюнька — Регельсберг
До левого берега Лёдыщи;

Первая конная помещена в резерве
В районе станции Рва,
Где, вешая попутно мародеров на дереве,
Заканчивала формирование.

Группировке же главных сил неприятеля
Можно было дивиться:
В лоб 13-той гвардейские рати,
Стрелковый корпус и Дикая Дивизия.

Против 6-той — конница фон-Бервица,
Офицерский Легион и туземная Армия,
И, наконец, против Конной Первой
Вся улялаевская ярмарка.

И вдруг бряцнул струнами прокат:
Телеграфная скоропись
В точках и тире отдала приказ
Из Конной выделить корпус.

Означенный корпус именовать ЧОН
Присвоением прав армии.
Все вагоны — цветные, товарные
Груженные тарой, также кирпичом,

Освободить под ответ Чека
Представить фамилии 2-х кандидатов
Посты командарм комиссар тчк
Командующий Ю-В Группы (дата).

Но, покуда седлали гнедых зверей,
Слух поспел об улялайской черни:
Открыли фронт и заехали в рейд
На территорию советских губерний.

Через 2 часа Конармия в бой,
Захватив еще не заживший плацдарм,
А корпус в тыл по дорогам старым,
Закрепив штаб за первой избой.

В этой избе командарм Лошадиных,
Грея над свечкой бутылку — „Боржом“,
Гладил на лавке исподние штаны
И что-то щелкал столовым ножом.

Комиссар армии товарищ Гай,
Который брился у иконы в черноту лика,
Подошел, намыливая на щеку снега,
С подтяжками, из-под рубахи пляшущими лихо.

„Что ты тут строгаешь?“ Командарм не отвечал.
(Шутка ль дослужиться до этаких вершин!)
Гай наклонился да так, что свеча
Треснула о волосы, и увидел: вши.

„Ну тебя к дьяволу — зачем же ножом?“
„А чем же, хреном?“ „Брось притворяться.
Совсем обнаглел, хам“. — „А ты — цаца?
Тоже, подумаешь — больно нежон.

Да и в общем говоря, ты заткни свой нюх,
Потому безо всякой точки живет“.
И тень командарма во весь живот
Сытым торжеством напоминала свинью.

А утром, когда барабан пропел
И голос пробил: „Командовать рысь“,
Лошадиных нагайку — и тень в репей
Прянула точно рысь.

В широких русских ноздрях азарт.
Да! Несомненно — он воин, он призван.
Рыщут злорадные в стрелках глаза
О враге в природе тончайший признак:

Если днем поднимаются болотные птицы
И нервно кружатся в одиночку и парами —
Значит проложен шаг армий,
Рыщущих напиться.

И болотца в пушице, чмокая галоп,
Слепки с копыт отсосали на память:
Сперва подковы ложились в нашлеп
Всей дугой и двумя шипами.

Но вот поднялись на когти и в отрепъ
Запятыми цапали киргизские ковры.
Ясно: армия шлá в рысь
Линией колонн по-три.

Если вода остается в колодцах
(А численность взвода человек тридцать),
Значит — армия торопится колотья
Кавалерийской рысицей.

Таяла луна, дырявая, как сыр,
Над степью выливалось ядреное вёдро,
Банда все нагоняла рысь
Линией колонн по-три.

Если в кострах красная кровь
Из тонких веток хлещется в небо,
Если пометом попахивает ров —
Значит час, да и этого не было.

И вот от костров по колесам тачанок,
Ободами выбитым на тугом грунте,
Конным карьером в погоне отчаянной
Будет ухлопан унтер.

„Аллюр!“ И прижато лунное стремя,
Игрой на гребенке натешится вихрь,
И голов под галоп боевой строевик
На тени не различит в стреми.

Лошадиных был — топ-той — командарм,
При нем — топо-топ — комиссаром Гай.
Армия ЧОНа мчала не даром,
Свежей и свежей говорили луга.

Вот они! на горизонте! линией рябою...
Пала градом тревожная дробь:
„Эска-дрон! Шашки к бою —
Пики на бедро!“

Но с утра и весь день через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

А утром опять через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

А утром опять через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в 10 верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю и порск.

Пока на глаза мохнатой папахой
Вхлобучится дикая ночь,
И кони, отдувая глазничьи пахи,
Повалятся с перепухших ног.

А утром опять через степь маяча...
(и т. д. до бесконечности).

Одначе будя! Кажись, пошутили.
Всего-то и виду, что конские лядви.
План изменить: армию на две —
Первой — Гай, второй — Лошадиных.

Теперь уже лошадь пошла в оборот:
Лошадиных гонит, а Гай в конюшни —
Своих оставляет, крестьянских берет,
И конь посвежел — не конючит.

Уж банде нету ни в чох зарыться,
Ни в балки обритого поля.
И скачут тачанки и кавалеристы,
Гоняя без корма и пойла.

Конскую хватку корчит азарт
Короче, короче, короче.
Над ними кричал вороний базар
Калыгами черных урочищ.

Это было славное время для волчйх,
Когда везде ночевала падаль,
И они уже не шли на берег Алчи,
Где их стерегла — опасность.

Семьдесят верст отскакали ночью,
И вот уже виден один из задних

И видно — к тылу подъехал всадник
И жеребец хохочет.

Банда стала. В мокрых от рос
Полях седых и бурых
Пар, как войско, толпился и рос
Орлиной горбью плащей и бурок.

Банда стояла. Впереди хутор
С высоким загоном для бычьих боен.
Таяла луна. Кукаречье утро.
Здесь. Будет. Бой.

Тихие ямы, полные неба,
Изредка вздрагивающие рябью,
Синели в лысинах русого хлеба,
Где заблудился северный рябчик.

И, черкнув горизонтом таинственный град
Из красного солнца и сизого дыма,
Земля опускала восточный край
Торжественно-неудержимо.

И вот на виду, от пыли опухши,
Дали поворот пулеметные тачанки,
Потом синеватое рыло пушки
Вставало с бугра меж кустарников чахлых.

Одинокий хлопец отчаянной жизни
Помчал было на чоновцев конские зубы...
Но снова все тихо. И зрели арбузы,
Хоть им не пойти уж товаром на Нижний.

И вдруг сбоку вспыхнул букет
Голубовато-лиловых туманов

И, плотным бу! отрывисто грянув,
Седыми ноздрями повис на суке.

И махом орла в какую-то дыру
Потянуло струной течение впросоннице.
Секунда. Другая. Третья — и вдруг:
Кррах — дзий! Извержение солнца.

А в небе высился сизый чертог,
Зловеще пропитываемый алым:
По телу солнца черной чертой
Величественно земля оседала.

И снова сбоку вспыхнул фонарь
Голубовато-лилового дыма,
Оплыл и подул бороною мимо,
Линяя на желтый и серый тона.

И снова и снова вспыхнул ожог
Один у мара, другой за мар уж.
Зеркало свистнуло из ножен —
„В атакуу... Марш-маръш...“

Но тут в самое мясо, в центр,
С обоих флангов врагов
Под четкий чавк пулеметной ленты — Огонь!..

Да еще в дымовых разворотах
Дунул шрапнельный загвоздень
И, выбив, как зубы, конские роты,
Осыпал красные звезды.

Но уж первый эскадрон
Проскочил за треугольник —

Хряск рубки, топота дробь,
Замаха тугое раздолье.

Под-ноги рванулся наливаясь колесà блеск.
Гай привскочил — рраз — прыжок.
Встала голова — и наган прожег,
Встала голова — ледянул саблей.

Эта голова все одна и та ж —
Сейчас покрупней, а другой раз поплоше,
Иногда она подымалась на этаж,
И тогда под ней была лошадь.

Зернистыми икринками на очках кровь,
Но каждый раз голова вставала,
И снова и снова срубы овала,
Так что это казалось игрой.

И вдруг из хутора в пороховой туче
Под рёв барабанов и дребезг литавр
Выехали банды, и бұхот летучий
Жужжал и звенел стебельками атав.

И страшен был затонувший склон,
Серые перья праха топыря:
Ибо длина поднятой пыли
Равна глубине колонн.

Тогда началось отступление,
Бешеная шпорь.
Банда, известно, не берет пленных,
Срубает отселя да по этих пор.

А ежели берет — вырезает серпы
Из спин да грудей — имеется опыт.

И от ужаса смокла на теле сарпинка,
А сзади бубухал тупой топот.

Гай отставал. Он кобылу измучил.
И, оглянувши с предсмертной тоской,
Видит в трепле нелепых чучел —
Мирно скачет рогатый скот.

А на горизонте бандитские орды
Мчались, удирая, подобрав пузон.
Что это значит? Так это фортель?
Тактика Звержа?! Ну и позор!..

Русский солдат зубоскал и гаер —
Беда перед ним оказаться балдой.
И чоновцы, прядая, под сдержанный галдеж
Исподлобья понуро следили за Гаем.

А Гай оседал, сутулый и грозный.
(Изумане, выходил этот проклятый немчик.)
И вдруг смех, как ядерный жемчуг,
Прыгнул в зубы и в ноздри.

Нет, погоди, погоди — напряжься,
Разик один — хо-хо — вздохнул бы.
Но пузыри! да бульбы
В нёбо, глаза и уши.

Сколько есть разных слов на свете.
Вот, например, „капуста“.
Нет, не годится — надо о грустном,
Только скорей бы — никто не заметил.

Могут (хи-хи) пробраться в погреб
Завтра — ха! — чумные крысы.

Я буду тоже, ой, лысым...
Некогда сгибли обры...¹

В какой-то книжке грозный флагман,
И вдруг олять „капфу — ста“!
Чёртовщина, как это вкусно
Так грохотать диафрагмой.

Вот барабанщик тоже прыснул,
Вот еще фыркнул где-то кто-то,
И вдруг — га-га!.. — орудийный хохот
Тысячи свежих жизней.

„Смирно. Ффу. Петров, барабан дай
Если смех — значит дух неплохой“.
И полным карьером гончий поход
Пошел за дымившейся бандой.

Это был оставшийся в истории поход —
„Гончий поход Гая“,
Когда без обоза и без пехот
(Цепочка для связи, в разведку другая)

Два кавалерийских неполных полка
С одним дивизионом артиллерии вышли,
И на знаменах конницы вышили
Имя легендарного коня „Полкан“.

.

Аул Гяурдаг. В 9 утра
Улялаев впервые повел наступление.
Первая. Вторая. Гай на ступеньке.
Наши с цепей ответили: тра!

¹ О б р ы — народ, о котором известно только то,
что он погиб.

Артиллерия бьет. Шелковистый шум
Шрапнели. Сталью затянут волос!
Вихрь за снарядом. Вж...жжу.
Мылом несет организованную сволочь.

Железный шелк. По нас, по нас...
Нет — недолет. Следующая выше.
Георгий Гай с биноклем на крыше
Кликнул ординарцев: „Петро! Апанас!“

И наша ответила. Облако сепии —
С воем над нами ушел снаряд.
Ага — их первый отряд занырял,
Легкая паника — залегли цепью.

Орудия в тике рвались из берлог,
Кипели пулеметы ажурной строчкой,
Но Улялаев посадкой прочной
Гикая вел своих пестрых орлов.

На нем была червонная бекеша с рубашкой
И такого же цвета башлык. В поту
Он лихо сидел под бараньей башней
С Дылдой по эту и Звержом по ту.

Он лихо сидел. Табун боевой
Сивой, чалой, гнедою лавой
Прыгал, скакал, заносился и плавал,
Неся пред собой, словно тучу — бой.

И мир застыл, окаменев.
И бой летел, как шум прибоя
В невыносимой мимике боя
Каждый всадник плясал как нерв.

Они сливались — бандит и конь
В снаряд, летящий по секущей...
Наводчик поставил на самую гущу,
Гай махнул: „Огонь“!..

... И банда, прыгая по столбовой, ровной.
Влетела в деревню, теряя палых.
Гай прискакал — а уж их и следов нет:
Банда словно пропала.

Гай с матросами въехал рысцой.
„Эй, бабуся — не видела конных?“
Баба, у кадки стирая лицо,
Волосатой ручищею ткнула: „А вон оны!“

Кавалерия направила к серевшим ометам,
Распугивая по дороге кур и свиней.
И вдруг в тыл закипел свинец
Под поддакивание пулеметов.

И вдруг вопль и копытный ступ,
И вбок из околицы за межевой рубец
Женское тело заваландал жеребец
С волосами, подвязанными к хвосту.

А на седле закопченный, рябый,
С подпаленными, точно гусь, усами,
Прыгал бандит, наряженный бабой.
Ба! Да это батько. Он самый.

Вертяся „Вороном“ на одной точке,
Раззуживая тело на сальной косице¹

¹ К о с и ц а — конский хвост ц лком,

Сивый чертяга глазом отточенным
Под вывороченным веком косится.

Шабаш. Владейтэ! И конь кружился.
Казалось, что три, что четыре тела.
И ЧОН оробел и глядел на жилы¹,
Где слиток плыл золотой, как лето

Но тут подоспел Лошадиных.
Серга обрубил хвост и в галоп.
Дали погоню, и полк лошадиный
Рябыми ногами по телу колол.

За ним прошла полевая артиллерия.
Издохший кот, костяком загремев,
Прилип к винту и кружился, ощерясь.
Раскатанный колесами в ремень.

И Тата лежала пастилой кожи;
Войлочная степь ее лужицу вопьет.
Гай подъехал и весь перекошенный
Откатил голову и вздел на копье.

Атаман, водопада хвостом по ветру,
С тремя офицерами плыл в лазурь,
Но за ним, нагайкой наструпывая зуд,
Гудел его клятый недруг.

Ехали сектором трех дорог,
Ехали кухни, больницы, казармы.
Два часа огромная армия
Струнила четырех².

¹ Жилка, жила — наиболее длинный волос хвоста,

² Струнить (охотничье) — загонять со всех сторон.

Но Мамашев был дремучий кочевник,
Он угадывал приметы, где не видно ни зги им.
И штаб, домахнув до неожиданной деревни, —
сгинул.

Гай прихрамал. (Копыто опухло.)
Сашка насупи .ся в позе Буденного.
Деревня, как деревня: простая, буденная—
Вишни, скворешни, плетень да пугало.

Тучное пугало, глупое, как пуп.
На пугале галка. На колодце ворона.
Тихо. Ехидный дымок из труб —
И Лошадиных тронул.

Оцепили. Въехали. С лукавеньким рыльцем
Мальчишки играли бабками в цель.
Они говорили меж собой на „нце“:
„Никтѳнце ничевѳнце не говоринце“.

„Ну-ка, парень. Ты-ты. Не артачься.
Сказывай, где Улялаев“. „Чево-нце?“
Лошадиных рванулся — и черное солнце
Брызнуло изо рта.

Гай вздрогнул: „Ну, ты — брось,
У нас с мужиками должна быть сплоченность.
И потом это ребенок“. Лошадиных поднял бровь:
„Ты — ученый, а я — толченый“.

Во дворе у забора мокрая лошадь
Сосала корыто, густо дыша.
Лошадиных шарить пульс по ушам.
Нюхать ладонь и гриву ерошить.

„Чей кѳнѳк?“ Мальчишка молчал.
„Я обучу, брат, тебя разговору“.

Через лицо — хлыщ! „Чья?“
„Наша“. „А почему пот?“ „Хворая“.

„Врешь, подлюга. Ведь экая сволочь“
И зажужжал казацкий нагай.
„Дяденька-начальник. Брось! Ай-ай!
Тама корчма. Их попрятал Фролыч“.

В корчме, где пол был свежее-окрашен,
Царапины шпор и военный каблук.
Подняли половику. Под кольцом — люк:
Краузе, Зверж и Мамашев.

Офицеры вышли и сдали оружие.
Но Зверж, щеголяя венгерками карими,
Четко сказал: „Я могу быть нужен
В качестве инструктора вашей армии“.

Гай усмехнулся: „Не нахожу слов“.
„Напрасно. Я продаю вам шпагу.
Я — кондотьер, и свое ремесло
Могу предложить по контракту на год.

Стало быть нет?“ „Обратитесь на биржу“.
Он вынул пилюлю, заклапанную в жесть,
Глотнул, подняв брови, и сделал жест:
„А славу по мне пусть лошади выржут“.

Лошадиных не верил: „Ну, что же — пора уже“.
„Терпенье, мсти-сдарь — 15 минут“.
В этот момент пожелтевший Краузе
Подошел к столу и нервно мигнул.

Он стоял, петушистый мокрый цыпленок,
Но бодрясь выстукивала правая нога:

„Вашей смертью считаю себя оскорбленным“.
Вытянул пальцы: „Дайте наган“.

Дали пустой. Приложил — отстранился.
„Не могу“. А Звержа скрутили ужи.
„Хоть это не поручик, а Аста Нильсен¹,
Но, комиссары, да здравствует жизнь!“

Его погребли в каком-то кургане,
Быть может, над ребрами скифского вождя.
Говор барабана врага провожал,
И солдаты степенно моргали.

Уходили задумчиво. Околица, пугало.
На пугале галка. Тихость дорог.
Краузе двигался набожно строг,
Но глаза у киргиза пылали, как уголья.

Их подвели к обрыву реки.
Секунды на дулах каплями спели.
Хотел было оправить обшлаг у руки,
Но спохватился — нет, не успею.

Да нет! неужели так-таки умру?
У меня меж ноздрей раздвоенный хрящик.
Я дышу — вот видите? дышу. Грудь.
„Не рыдай мене, матери, во гробе зряща“.

Кажется, надо уже падать. А Миша?
То-бишь, Мамашев. Он тоже со мной?
Что ж это — ни гула, ни боли не слышал —
Просто стало темно.

¹ Аста Нильсен — кинематографическая актриса.

Так ликвидирован их штабной кворум,
Однако Улялаева так и не нашли.
Хотя о забор отодрался башлык,
И тут же в стойле хрустел его „Ворон“

Тогда выводили скакуна на шлях,
Запутали ноги, повернули на солнце.
Лошадь стояла. Багровый лак
Пестрел в арабесках цепочного золотца.

И вытянув классическую голову вбок,
Прихлебывая ветер роскошными ноздрями,
Литой и статный бандитский бог
Захромал, ныряя в воздушные ямы.

Он стал у забора. Не перелететь.
Заржал залиvisto-яркой песнью —
И вдруг с галкой, сидящей на плесени,
Пугало махнуло через плетень.

Улялаев!! Елки! А они-то заляпы!
Поймаешь такого, как же — в четверг!
Сивая галка, привязанная к шляпе,
Нагло лежала лапами вверх.

Два дня караулили. Обшарили все.
У чоновцев был испытанный навык:
Люки и стрехи, перины и канавы.
Даже камнеломни, где лишь гнезда сов.

И уже выступая в пылищу дорог,
Вспоминали снова все амбары и конюшни,
Но позабыли одно; нужник,
Где Улялаев сидел под дырой.

ГЛАВА IX

Ленин диктовал машинистке: „Итак:
Резолюция IX Съезда полагала,
Что путь пойдет по прямой, но — шкалой,
А шкала-то вышла витая.

Но мы не должны стараться что-либо замазать,
А должны признаться волей-неволей,
Что наша стомильонная крестьянская масса
Установленной формой отношений недовольна

Написали?“ Ильич шагал по ковру,
Стараясь ступать по линии клеток,
Засунув пальцы лапчатых рук
За проймы губсоюзского жилета.

„Дальше. Политики, которые скользят,
Сводя свои приемы чуть ли не к обману,
К нашему пути никого не приманят —
Классов обмануть нельзя.

Вникая в это, мы скажем себе: баста.
Покуда пролетариат будет бороться,
Не выскочишь из местной свободы оборота,
А значит из потребности в товарной базе.

Этот оборот нужно вправить от ушиба,
Ибо революция — дело поколений.
В этом отношении было много ошибок,
И не видеть их — преступленье“.

Машинистка вмешалась: „Примите благодушно:
Конь о четырех, да и то спотыкается“.
Улыбнулся: „Гым-гым. Еще бы не каяться,
Ежели споткнулась целая конюшня.

Но дальше. Компродский аппарат налег
И закупорил корни крестьянского роста.
Давайте ж разберемся: мы стоим у вопроса
Вместо развертки ввести налог“.

Налог!! И заглох орудийный взвой;
И побросала армия деревни караулить,
Конница отплясывала кованный звон,
Справа по-три на зубах улиц.

В стрелецком шлеме, где в шишечке кнес¹,
Опричною сволочью выкатив челюсть,
Сам командарм, деревянно подбоченясь,
Грозно гремел на карусельном коне.

Считая, что тон советской государственности
Это чекищина, приказ и наган,
Лошадиных старался, честно ударствуя,
Выкроить рожу — на страх врагам.

А Гай понуро качался на коне.
Уже велось „дело“ об убийстве Кулагина,

¹ К н е с (славянск.) — князек, флюгер на тереме.

Да в серых думах болезненно вздрагивала
Мысль о той, о ней.

Облака Грозного над улялайской степью —
Хищное тьявканье, картавый курлык,
На кургане бились мохнатые орлы,
Свища вихри, вздувая пепел.

Горбатые когти сочили выскребь,
Поросший ракушками клёв гремел,
Из мозолистых лап вылетал в искрах
В запахе пороха — кремень.

И когда, в монархическом распахе,
Ерошась, остался самый великий —
Его наглые глаза осмотрели: на пике
Черная от мух голова пахла.

И Гаю стало дико и как-то не верилось,
' то он, он — комнатный интеллигент,
Веселый жуир декадентского севера,
Стал героем мрачных легенд.

Но вокруг на тачанках, верхами и так
Плясали, шагали и ехали „убийцы“.
Это эпоха выходит на тракт —
Пусть же мертвым покой, а живым любопытство.

И комиссар, на повороте проступив на тротуар,
Шоколадным перемаслом разливаясь через стекла,
Нагнулся на ходу и, заглянув в окошко около,
Высмотрел такое, что взревел на роту — „Арш!“:

Четырехногий, среднего роста,
Масти бурой, глухой стук.

Это не то, что вы думаете — просто
Стул. Обывательский стул.

Но кто ночевал в соленых топях,
Нюхая железо осенних струй,
Кто был на седле, когда ему топот
Отдирал от кальсон присохший струп;

Кто пушечной тушей под поездный огул
Во вшивых ульях тифозных теплук,
Кое-как примостившись на плуг,
Не знал куда сунуть лишнюю ногу,
Тот...

Он писал метелицы писем:
„Милая мам. Я прошу об одном —
Стул мой в чулане — умоляю, займись им —
Пусть его покрасят и вправят дно“.

Вот и все. И ничего нового.
Никаких идей с красивой брехнёй.
Просто стул. Рядовой. Сосновый.
Который уверенно четырехног.

Кстати о стуле. Дом № 3,
Подъезд, где осыпался цементный гравий,
Звонок: „три раза и раз“ — и направо:
„Профессор Евгений Иванович Щедрин“.

Так вот у Евгивца¹ — месяц пошел,
Как, что называется, не было „стула“.
И старый академик не без юмора думал
Об экономии топлива кишёк.

¹ Е в г и в щ — Евг(ений) Ив(анович) Щ(едрин).

Сумевший отличить Ratio от Logos,
Но не смогший отопить свои 70 аршин,
Он втащил в кабинет собачью берлогу.
Где много соломы и псиной парши.

Тут и залег. Тут после лекций
Жарил на касторке чемоданные ремни,
И топливом пылали из бывшей коллекции
Враждебные течения, например Парменид.

Вечером же в валенках и золотых пенсне
Шел по квартире проверять мышеловки,
И если бы его спросили — мялся бы неловко
О критике Штейнаха¹ к будущей весне.

А ночью опухшие суставы Эжена
Копались среди мусора в выгребном дне,
Ибо смерть — выход в любом положении,
Но положение, где выхода нет.

Но зима на исходе. Но солнце храбро
Кровавилось в бархате лысых гардин.
И „старушек“² по зале благодушно бродил,
Мурлыча любимую абракадабру:

На́вуходоносор На́-
вуходоносор Навухо-
доносо́р Навуходоно-
сор Навуходоносо́р.

Аккуратно вынул что-то вроде табакерки
И, шаркая до бюста Октавия (станция),

¹ Штейнах — германский ученый, производящий опыты омоложения на крысах.

² „Старушек“ (польск.) — старик.

Нюхал и думал: а) о букве „ерике“,
б) О влиянии последней на „Стансы“.

К этому-то Щедрину позвонили. Резче.
„Батюшки. Какими судь...“ „Ну-ну, ты. Потише-ка.
Я конспиративно“. „А. Но где же твои вещи?“
„Вот“. „Что это?“ „Записная книжка“.

Суетливо выловил из жилета ящичек,
Ткнул в ноздрю зеленоватого меха:
Аап? Псср! — „На здоровье“. — Ррящь!!
Ап! — „Ну?“ — А... — „Ну“ — Нет... Проехало.

Фу!.. Ты все тот же. Бунтуешь? „Привычка“.
„Но скажи мне на милость: ну, что ты привнес им?“
„Страх!“ — засмеялся сквозь зубы носом:
„Страх террора... Ты это себе вычекань.“

Ну, что у вас в Москве? Презираете Листа?
Втыкаете антенну в левитановский „Омут“?
А как самочувствие Белого Дома,
Этого правительства веселых журналистов?

Ну, что же — отвечай! Бывал Первопуток?
Что заговоры?“ „Что ты. Теперь уж бойся стен“.
„Вот как? А кстати: я больше не Штейн.
Я Завадовский. Понимаешь? Не напутай,

Ну, информируй дальше“. „Ах, боже, милый Дима,
Ни с кем не вожусь, и вообще стал таять“.
„Тогда вот что, дядя: пойду пошатаюсь.
Нужно принюхаться. Необходимо“.

Штейн достал гофрированную бороду,
Приладил к губе, оттянул резинкой

И быстро пошел по мертвому городу...
Здесь „Мерилиз“, а тут был „Зингер“.

Он шел завоевателем, производя экзамен.
И слышал от злорадства перестук пульса:
Попугай вывесок по пустынной улице
Нелепо тараторили немymi голосами;

Как это жутко — видеть проспект,
Наполненный тысячью рекламных игрушек
(Медная ботфорта, зеркальный спектр,
Стерлядь на велосипеде, рюшик,
Тройка жирных кабаньих морд
Над гирляндой сосисок, зубная улыбка,
Женская ножка в чулке, скрипка,
Очки, циферблат) — и знать, что он мертв.

Дома как гробницы. Промахнут моторы
И снова глухота. И нечем утолиться.
Охлебывалась мраком большевистская столица,
Жуткая, как крематорий.

И вдруг на безлюдьи — толпа. У витража.
„Виноват. Разрешите. Подвиньтесь, пожалуйста!“
Чахлая лампочка обливала: галстук,
Дюжину запонок и пару подтяжек.

И туземцы напирали, зачарованные светом,
Осколком диковинной „белой“ культуры —
Спекулянт, проституха, замзав из Совета,
Студийка с чемоданчиком, аджарский турок.

Штейн возвратился: „Чудесно, старик.
Полная разруха — и хоть бы проблеск.“

Еще немного — месяца три —
И большевики угроблены“.

И вдруг мокрицы посыпали разбег
На гипсовый бюст цезаря Октавия,
И явственно стена произнесла на распев
Величественною октавой:

„Конь.
Струг.
Тиф.
Взвизнь.

Неразберибери и соха...
Кон-струк-тив-визм
Это на год сухарь“.

„Что это такое?“ — „Поэт Барабанов
Опять взрочно вымучивает вирши“.
„Фу. Балбес. Ну, и ржавый же рубанок,
А как он котируется на поэтской бирже?“

„Так кустаришка, поэтская икра,
Но любопытен тем, что статистическое эхо:
Был футуристом, да вишь куда заехал —
Законструктивился: крах“.

Штейн побледнел. С морщиной отчаянья,
Капустное ухо распустил и приплавил.
Поэт рыча запевал заглавие:

«МЕДНЫЙ ЧАЙНИК»

Лоснящийся красной медью,
На примусе пар заносит,
Начищенный и надменный
Воющий броненосец.

И гайки на нем бесцветны,
И как убедителен винтик,
Как точно оём бассейна
Равен английской пинте.

Он, меднобронной массой,
Луженым желудком урчащий,
Отливает червонное масло
Кляксами об чашки.

И в этих отлитых латах
Покрытый шлемом индустрий
Он стоит под парами крылатый,
На боках отгибая утро.

И, отуманясь на градус,
Сыпанет золотистой дробью.
Подумай — какая радость
Построенное ведро!“

Штейн растерялся. Желтая зависть
Душила. Уже пропитался мозг:
„Что такое Барабанов? Мелкий мерзавец.
Для мамонта разрухи — одна из мосък“.

Барабанов услышал. Там стало тихо.
Зажужжали шаги о дверное стекло.
Барабанов вошел. — „Крыть — так уж в лоб.
Моя фамилия — Жихов“.

Штейн ошурился. Евгений Иванович
Глотнул слюну: „Предъявите мандат.
Хе-хе. Это, Дима, наш комендант.
Послушайте, когда же мне исправят ванну?“

Но Штейн резачул поперек: „Избе
Не угнат ся за Западом на родной осине:
Там алюминий, стекло, асбест,
Почему ж конструктивизм возник в России?“

Барабанов нажиллся: „Вот именно, да-да.
Вопрос, вот именно, эсэровский. Но вот что:
Почему это в стране, где воздушная почта
И прочее и прочее — течение „Dada“? ¹

„Dada“, эта заумь: Крученых ²по-французски
То же, что, вот именно, до Октября у нас.
Ага: различна база для музыки
В хозяйстве концерна и в хозяйстве масс.

В первом п эгу отпущены: весна,
Ода урбани му и неземные звуки;
В другом — поэту — очки да руки
Строить, вот именно, вести, разъяснять“.

„Бросьте, бросьте — зуб заболит.
Понимаешь — насосался на рабфшке открытий
И прямо граммофоном. Но запомните, „критик“:

*Мы рождены для вдохновения.
Для звуков сладких и молитв“.*

Он долго кипятился то громче, то тише,
Закрикая всякую попытку реплик.
Барабанов потрогал какую-то пепельницу,
Что-то замурлыкал и вышел.

¹ Дадаизм — литературное течение на Западе, соответствующее нашему заумничанью.

² Алексей Крученых — поэт, открывший заумь.

Но Штейн погиб. На скамье бульвара
Под аплодисменты разбуженных галок
Он то качался, то срывался в ярость,
Нервно черча по песку палкой.

Искусство — громоздко. Оно только отмечает.
Значит это в воздухе. Значит это властит.
„Поэт“ уж не титул, а титул „мастер“,
„Медный всадник“ и „Медный чайник“.

И снова бредил, толкая случайных,
Глядел с моста у Москва-реки на воду;
Смотрел, как Ленин читает „Правду“...
„Медный всадник“ и „Медный чайник“.

Астрахань,
22/XII - 1954.

ГЛАВА X

„Маткеша“. „Ну?“ „Запрягай живота“.
„А которого?“ „Да нехай Ворончик“.
„Ну же и ярмарка будет нонче“.
„Само собой. Обожди — да вот так...“

„Не лапъ — сама знаю“. Хозяйство такое:
Поле у речки — гожее, недробное.
Яловка, поросая свинюха, а кóней
Целых три. Но про это подробней.

Первый — гнедой, в белых чулках,
Характер нервный, кавалерийский.
Дылда за ним всю кампанию рыскал.
Звали его — „Полкан“.

Второй — „Дырявый“, масти соловой.
Его бы, одра, татарину на ветошь,
Да вот старушенция уперлась: „Нет уж!“
И верно: понимал коняга каждое слово.

А третий „Ворончик“. Из себя гладкий,
Доброго мяса, ровно битюга.
Чистый крестьянин. Краски смуругой,
И только по брюху заплатка.

Изба тоже знатная: посереду, печь,
Фанера отмежовывала ажно 3 закутки;
Дворик с канавкой, где полоскались утки.
Есть четыре яблоньки (пятая в дупле).

И к осени налив, восковой да грузный,
Сквозь солнце в меду будет семечком рябить,
А пока на подоконнике сушеные грибы
Белые, лисички, рыжики да грузди.

Так полегоньку, силком да силком
У Дылды пачка „Крестьянского займа“.
Дылду уже выбирают в сельком,
Дылде сподручник — наймит.

Вот он! выходит — привольный собой.
В розвальни навалена смоленая туша.
Перебрал вожжи. Скрипнула супонь
И пошла-пошла, пошла-пошла по — эхь, ты, машута!..

Раннее утро. Все как во сне.
Плыли снегурочки деревенек,
Розовый дым, голубые тени
И от зари малиновый снег.

Думы были сытые. Крепко казачьи.
Больше касательно прошлой хвакты.
Что за добро? Ну, тулупчик заячий
И все. И ни ногтя хозяйской хватки.

А ведь бывало, знамен не валандая
И звали отца на деревне — Кузьми.
И была у него рыбацья шаланда
С неводом из турецкой дузмы.

И вот, значит, только ветер-свистун
Закачает с флажком буюк на посуде
И раздувает над морем звезду
(Ясное ж дело — улова не будет),

Тогда в 100 пуд — мировой на свете
Бык из чрева грозитя: „Ммы!“
Гусь: „Кого?“¹ Индюшка: „Ве-те-тер“.
Чушка: „Хто?“ Поросята: „Кузьмич!“:
Воробушек серенький шасть туда же:
„Зачем-чечем?“ А голубь ему: „Дуует“.
Курица спросит: „Куд-куд-куда?“
Жук: „В звеззз... (и об стенку) — ду!“

Вот бы слышать такое почаще.
Да нет... Мировые — нам не чета.
А впрочем — как знать? И рога бычачьи.
Блещут на западе, как мечта.

..Ворончик“ прилежно по шоссе хлопал,
Мороз ему хвост серебром выткал.
„Трр. Стой“.— Районная коопа,
Где черный Семка и рыжий Давыдка.

Одного кабана 16 пудов,
Четыре овчины, один опоек,
Но правду сказать немного худой:
Имеется след водяного опоя.

Теперь по корову. Верста — и доехали.
В „Доме Крестьянина“ — номера и чай.

¹ Читать именно „Кòгò“, а не „каво“.

Бублики с маком. Клевые пекари.
А соль—без денег: так, невзначай.

И вдруг подносят крестьянину борщ.
Борщ революции! В жирных разводах.
Жалко скушать; глазей да не порть.
Уж это борщ! Вот дык.

Хрящи свининки — душу томят,
Запах перца — бросает в метанье
Из северных автономий сметана
Из закавказских республик томат.

Рисунчатая ложка с облупленным устьем,
Нырнув под глазастое золото жижи,
Колыхала бульбы и плавники капусты,
И борщ качался, жирный и рыжий.

Дылда пьянел. Он почти слышал
Крепкий градус мясного сока,
Который звучал до того высоко,
Что даже комар не сумел бы выше.

И язык обжигала вкусная боль,
И всякая брюква с усов свисала,
И в сердце Дылды горел бой
Между борщом и кобыльим салом.

Нет, надо жить и, как люди, жевать
Русские щи, а не татарские кйшки,
Завести деток — Машку да Мишку,
Летом крестьянить, зимой гужевать.

Но тут прямо в борщ борода богомольца
Уселся, сморкнулся. Все в аккурате:

„Северная людь, тихомирная, не колетя,
Не то, что ваша южная братия.

Вот бунтовала. А за-што? Спроси-ка!
Какой он те хозяин? Лаптя не починит.
Яму, знамо дело, бабья да музыки,
А нету того, чтобы корму скотине..

То ли вот наши. Омут так омут;
Избушка-то во... скворешни на вербах.
Нешто хозяйская пульса стерпит
Жечь добро ни себе, ни другому?“

Дылда опешил: „В доску! Узнал!“
Посидел на крапивах. Вскочил и вышел.
А что бы было, каб узнали повыше,
Не к ночи сказать — казна?

Три его лошади мутно закачались,
Мутно закачалось кулацкое жнивье.
Подтвердю: бандовал. Но когда? У начале.
А теперь — соблюдаюся. Смирно живем.

Но кураж пообтих, хотя парень тугой.
И думал, пробираясь меж возов осторожененько:
Куплю у божника нательный чертогон
И на все мне насесть, кроме ежика.

Покончатъ бы скорее, а то может замуровят.
Хлопнул рукавицы: „Ей! Братва!
Давай который торговать корову“.
Подскочил барышник: „Мотри-кась: товар.
Телку выбирать, голуба, нужно умеючи:
Дойная должна быть завсегда в кости,

Года у нее на рогах имеются:
Отсчитать кружочки да два и скостить“.

„Врешь, трепло — не скостить, а прибавить.
(По правде сказать, тут был прав бандит.)
И вдруг подошел к ним хохлацкий дід
Пудов этак на восемь да с лица рябавый.

„Ось“. Дылда прямо-так и обмер.
„Серга?“ „Цыц. Дэрэвня яка?“
(Вдариться в милицию? Завопить об мир?)
„Чуешь. В якóм ты селе?“ „Молокань“.

„Ворончик“, пуча белки, скакал.
Дылда хлестал его под хвост и в ноги,
Сани, хрюкая, катали в „Молокань“,
Но передумали — свернули на „Отлогое“.

Маруська была теперь учительша в школе.
Думала. Читала. Марья Ивановна.
Эти ребята крестьянских околиц
Заставили жить ее наново.

И вот распутница, бандитка-анархистка
Обучала детей „Политграмоте“.
А над кроватью в кантованной рамочке —
С голубым бантом киска.

Сегодня Мариванна объясняла клопй,
Что облака это дождь, но не вылитый,
Как вдруг ледяное стекло залепил
Сплющенный нос Дылды.

В школе было ясно. Капала оттепель,
И зайчики прыгали по партам из рук.

Все бы хорошо, да вот это вот „вдруг“.
Маруся недовольная вышла: „Чего тебе?“

Дылда с опаской оглянулся на дорогу:
„Слышь ты — он тут“. „Да? Ну, так что жас?“
Глаза открытые. Серые. Не дрогнут.
Дылда вздохнул и маленько ожил.

„А что, как старик засвистает сбор?“
В ушах застучало громче — но
Маруся в миг овладела собой:
„Все, что было — кончено“.

„Так-то оно так. Говорят же во-всю:
Который пес лае, той не кусает —
Но знает ли этого самый тот псук,
Знает ли то Улялаев?“

Сама знаешь — лапы у батки липкие.
Их не отмоешь. Артист.
Скажет „продажники“. Вот и вертись,
Возьмет за грудь и силипнет“.

Маруся стояла белей молока,
Тряхнула плечом, не ответила больше.
По тракту снова на „Молокань“
Членораздельно гадал колокольчик.

Зашел к соседу. В слепящем снегу
Сивая кобылка казалась желтой.
По ней расплывался жирный нагул,
Ейное пойло — кофий из жолудя.

Нил Кондрашов не доест, не допьет,
Но уж Машке овес, все Машке да Машке.

Сам колупает угри да репье,
А уж лечит, как дитё — ромашкой.

Кондрашов вышел — безухий ухарь
(Ухо осталось у ЧОН'а). — „Здоров!“
Он тоже носил сережку в ухе,
Но только с ниточкой, а не с дырой.

„Слышь, Кондраш?“ „Га“. „Нынче он будет“.
„Кто?“ „Улялаев“. „Что ты?“ „Фахт“.
„М-да...“ Помолчали. „Теперь не лафа,
Теперь бы за со́ху, а не за орудию“.

Эдак пошушукались, да вдвоем и вышли.
Дылда к Павлову, Кондрашов к Чижу.
И все говорили кто „м-да“, а кто „ишь-ты“,
Кого брала оторопь, а кого и жуть.

Ночью Дылда дремал, как заяц.
В ухо нарезывалось мокрое дело.
Ему слышались шорохи, тени казались,
И корчилось смоленое от пота одеяло.

И когда петух заорал на рассвете,
Он крикнул, сел и нутром ёкнул:
Широким махом качался в окнах
Задрипанный гнездами ветер.

А в корявых сучьях незрелая луна
С голубыми кругами у глаз от бессонницы
Вяло встречала плывущую в наст.
Золотозвонкую конницу.

Тогда-то в ставень застучало кнутовище.
Дылда вылез: видит — мороз,

Серебряная лошадь в полуторный рост
И башлык заматается-хлыщет.

Долго обувался. „Ворончика“ поуськал.
Все уже в сборе: Павлов. Кондрашов.
„Куда выступляем?“ „Уперед за Маруськой“.
Дылда сказал: „Хорошо“.

Батяка сопел: поддержать ему стремя.
Он только было окорок — но Дылда: айда!
Мужики навалились, и веревочный кайдан
Опетлил его ногу да как на бойне вгремил.

Серга отряхался. (От своры — кабан.)
Но парни одолели. Увязали на телегу.
И атаман трех знаменитых банд
Покатился в город. Коняга была пегая.

Батяка знал ее: это „Лысуха“.
Она засекалась и ходила в бинтах.
Конвоиры мерно отбрякивали такт,
Шипели в сугробах, звонили где сухо.

Гоголем в цокоте ехали врозь;
Заезд был свеж и проворен...
Сзади подхрамывал грузный ворон,
Багровый от утренних зорь.

Но Дылда был не в себе — беспокойно.
„Чортов филин! Чего ему острог?
Задаст винта“. И крестьянские воины
Дали спешенный строй.

Братва его знала: выверчено веко,
Дырка в подбородке, да в мочке серьга.
Ежели только ускачет Серга —
Не оставит живого человека...

И Дылда вскинул к щеке обрез —
Цок! — осечка. Но Павлов за винтовку,
Вдвинул ему в губы — и золотой блеск
Озарил изнутри его зубы.

Рванулась лиловая кровь и дым.
Лицо, как молнией, дергалось мучкой,
Из темени хлестали с глотательным звонком
Пышные перья алой воды.

Кто-то еще спустил карабин.
Пальцы скрючились, точно озябли;
Кто-то трусливо крикнул: „Руби!“
Нос и губы перекрестили сабли;

Но белый глаз не мигая смотрел.
И уже суеверные малость струхнули —
Не берет старика ни тесак, ни пуля,
Хоть морда в разрубе, а череп в дыре.

Зеркальный мороз на ветрах багровых
Его отражал то выше, то ниже,
И он чернел, оползая в кровях,
И лютый глаз его ворожил-пыжил.

Может, он мертв. Но его похоронят,
А страх из могилы дыхнет проказой.
Нет, тут нужна прапрадежья казнь:
Чтобы мясо его разносили воробы.

И вынули топор, черный от опоя,
И дали помолиться, ежели горазд —
И Сергея-свет-Кирилыча тут же, в поле,
Голову на колесо — и раз!..

ГЛАВА XI

Но говорят, что это был не Улялаев...

3-

Цена 1 руб.
Перепл. 25 коп.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:
Москва, центр, ул. 25 Октября, 10/2
СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, центр, Большой Черкасский, 2
КОГИЗ